

ГЛАВА 4

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И СЕМЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИИ: ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СВОБОДА В НЕСВОБОДНОМ ОБЩЕСТВЕ

Превращение аграрного общества в промышленное, сельского — в городское было фоном, предпосылкой и в то же время результатом еще одного ряда перемен. Они совершались на «микроуровне», то есть на уровне каждого человека и каждой семьи, затрагивали глубинные, экзистенциальные пласты человеческого бытия, отношение людей к вопросам жизни, продолжения рода, любви, смерти. Эти перемены непосредственно сказались на частной жизни людей, на их брачном, прокреативном, сексуальном, семейном, жизнеохранительном поведении и чрезвычайно сильно повлияли на становление нового типа личности человека, его интеллектуального и эмоционального мира, на его индивидуальный жизненный путь. В конечном счете, демографическая модернизация — довольно условный термин, которым можно обозначить совокупность этих перемен, — стала еще одной важнейшей стороной всего обновления общества и человека.

Как и в случаях с экономической модернизацией и урбанизацией, демографическая модернизация в России — не простое заимствование, не слепое следование чужому примеру. Она — ответ общества на глубокий кризис его собственных традиционных демографических и семейных отношений. В конце XIX — начале XX века такой кризис в России достиг большой остроты.

4.1. Переворот в смертности

Одной из главных составляющих демографической модернизации в СССР, как и во всем мире, стало огромное снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Дело не просто в том, что в результате этого переворота люди стали жить дольше. Весь ход возобновления поколений стал несравненно более экономичным, чем прежде, и это резко расширило демографическую свободу человека, в частности, сделало ненужной прежнюю высокую рождаемость. Поэтому переворот в смертности послужил запалом более широкого модернизационного процесса — демографического перехода.

Как отмечал незадолго до революции известный демограф Новосельский, «русская смертность в общем типична для земледельческих и отсталых в санитарном, культурном и экономическом отношениях стран»¹. На рубеже XIX и XX веков в Европейской

¹ Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. Пг., 1916, с. 179.

России из каждых 100 родившихся мальчиков только 70 доживали до одного года, 49 — до 20 лет, 36 — до 50; из каждых 100 родившихся девочек соответственно — 74, 53, и 39. Средняя продолжительность жизни составляла 31 год у мужчин, 33 года у женщин, по этому показателю передовые страны того времени превосходили Россию не менее, чем на 15 лет. В России сохранялась глубоко архаичная структура причин смерти, она формировалась под решающим воздействием экзогенных (внешних) факторов и обуславливала высокую смертность в детских и молодых возрастах. Даже в середине двадцатых годов в городских поселениях европейской части СССР только от туберкулеза погибало свыше 11% каждого поколения. Еще больше жизней (около 12%) уносила пневмония — одна из главных причин детской смертности: 70–80% умиравших от этой причины имели возраст до 10 лет, а 40–50% — до одного года. Огромное число детей погибало от инфекционных желудочных заболеваний и других болезней, только на долю умерших от скарлатины, дифтерии, дизентерии и брюшного тифа приходилось более 6% поколения². Роль экзогенных причин смерти в сельской местности была, вероятно, еще большей.

Модернизация смертности объективно была одной из первостепенных задач общего обновления советского общества. Вслед за лидировавшими западными странами, ему предстояло осуществить эпидемиологический (санитарный) переход — от старой к новой структуре причин смерти, от старой к новой модели вымирания поколений, выиграв при этом, в среднем, несколько десятков лет жизни для каждого родившегося. В том, как решалась эта задача в СССР, с наибольшей ясностью отразились противоречия советской демографической модернизации.

Несомненно, в СССР предпринимались значительные и небезуспешные усилия в борьбе за сохранение жизни и здоровья людей. Однако эта борьба часто понималась узко технократически, строилась на заимствовании западных технологических подходов (которые могли какое-то время даже успешно развиваться в СССР), но без «социокультурного бульона», обеспечивавшего постоянное обновление и совершенствование стратегии борьбы со смертью. Уже в 20-е – 30-е годы звучала обеспокоенность тем, что социальное видение проблем здравоохранения часто подменяется медико-технологическим. Как писал один из авторов тех лет по поводу медицинской профилактики, «около нее слишком сильный запах карболки»³.

Между тем, одной из главных задач модернизации смертности было преодоление социальной и психологической инерции прошлого. Дореволюционному российскому обществу были свойственны пассивное смирение перед смертью, неверие в возможность ей противостоять и в то же время малая ценность жизни, нередко прямо пренебрежительное отношение к ней. Люди попросту не умели бороться за жизнь — свою и своих детей. «Если бы он знал, — говорил Г. Успенский о русском крестьянине, — ...что он может жалеть своих детей, умирающих теперь безо всякого внимания сотнями, тысячами..., что ему, мужику, можно заботиться вообще о себе, о своей семье, жене, детях, он бы давно заорал на весь мир... Он думает, что ничего этого ему нель-

² Бирюкова Р. Н. Таблицы смертности по причинам смерти. // Проблемы демографической статистики. М., 1959, с 339.

³ Томилин С. А. Демография и социальная гигиена. М., 1973, с. 140.

зя...»⁴. Обобщая свои наблюдения жизни русской деревни в уже упоминавшейся концепции «власти земли», «ржаного поля», предписывающего все нормы поведения крестьянина, Успенский писал: «Ржаное поле имеет дело только с живым и сильным, а до мертвого, до слабого, до погибающего ему нет дела...». Крестьянин привык выполнять приказания «ржаного поля и привык погибать, также исполняя с точностью свою погибель, раз она этим ржаным полем ему предугазана»⁵.

Пассивность перед смертью — неотъемлемая черта всех холистских аграрных обществ, а избавление от нее наносит удар по всему их традиционному мирозданию. Не случайно поэтому активность в борьбе со смертью, кажущаяся столь естественной сегодня, еще сто лет назад нередко встречалась в России с неодобрением, родственным неодобрению Гоголем или К. Леонтьевым «скорости сообщений». Это неодобрение чувствуется, например, у Л. Толстого и ясно выражается устами его персонажей. Позднышев, герой «Крейцеровой сонаты», осуждает свою жену за беспокойство о здоровье детей. «...Если бы она была совсем животное, она бы так не мучалась; если бы она была совсем человек, то у нее была бы вера в Бога и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: «Бог дал, Бог и взял, от Бога не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей вне власти людей, а во власти Бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезнь и смерть детей, а она этого не сделала». В другом рассказе Толстого, «Смерть Ивана Ильича», также сталкиваются два принципа в отношении к смерти. Отчаянию умирающего Ивана Ильича и суетности его близких противопоставляется величественно-спокойное отношение к надвигающейся смерти «буфетного мужика» Герасима, который один только «не лгал..., понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого». «Все умирать будем», — прямо сказал он Ивану Ильичу и то же повторил уже после его смерти: «Божья воля. Все там же будем». По мысли Толстого, суетная ложь окружающих низводит «страшный торжественный акт смерти» до уровня «случайной неприятности», ему явно больше по душе эпическое спокойствие Герасима.

Разумеется, в России и в прошлом веке не все разделяли взгляды Толстого, задумывались над корнями индивидуальной пассивности в борьбе со смертью, видели ее историческую природу. Как писал известный гигиенист Г. Хлопин, «сознание, что здоровье есть общественное благо, подлежащее защите общества или государства, явилось прежде, чем каждый член общества из развитого чувства самосохранения научился ценить здоровье для себя лично»⁶. Отношение к смерти и борьбе с нею у Толстого несло на себе отпечаток традиционного для соборной, общинной России неодобрительного отношения к автономной индивидуальной активности. Но по мере того как подтачивались основания всего старого миропорядка, у такой активности появлялось все больше сторонников. В частности, в конце прошлого столетия в русской культуре начинает складываться новое понимание ценностей «жизнеохранительного поведения», вырабатывается его идеальный образ. Герой рассказа Чехова «Попрыгунья» доктор Дымов погибает от того, что «у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки». Гибель человека, ценою собственной жизни спасающего чужую, рассматривается здесь как

⁴ Успенский Г. И. Без определенных занятий. // Собр. соч. в 9 томах. М., 1956, т. 4, с. 463.

⁵ Успенский Г. И. Из разговоров с приятелями (На тему о «власти земли»). // Собр. соч. в 9 томах. М., 1956, т. 5, с. 260.

⁶ Хлопин Г. В. Гигиена и санитария с исторической точки зрения. СПб., 1897, с. 4.

пример высокого служения, как героизм. Для тогдашней России это не просто новый взгляд на отношение человека к смерти. Он откровенно полемичен, оппозиционен по отношению к установкам традиционной культуры, видевшей в активной борьбе со смертью нечто не вполне нравственное.

Впрочем, не следует слишком упрощенно видеть и позицию Толстого. В ней была своя правота. Толстой видел приближающееся крушение целого мира и опасался его страшных последствий. Да, можно бросить вызов Богу, отвоевать у него несколько жизней. Но отобрав у Бога право распоряжаться человеческой жизнью, не присвоят ли люди это право себе, не откроют ли они тем самым путь вакханалии насилия? Опасения Толстого оказались не напрасными. Кто, однако, может проникнуть в замысел Бога, кому дано отличить его от дьявольского? Божье ли предначертание, дьявольская ли ловушка, но снижение смертности оказалось слишком большим соблазном для смертных. Вступив на путь активной борьбы за удлинение жизни, человечество сделало свой выбор, и теперь оно вряд ли от него откажется.

Развернувшаяся в СССР борьба против смерти несомненно продолжала «чеховскую», а не «толстовскую» линию, она сильно изменила общий социокультурный фон, идеология и психология пассивного ожидания смерти были основательно подорваны. Но полной переоценки ценностей все же не произошло да и не могло произойти. Экономические и политические реальности СССР не способствовали росту ценности жизни, который на Западе шел рука об руку с успехами медицины и здравоохранения и во многом определял общественные и индивидуальные приоритеты. Советское общество постоянно находилось в напряжении, в состоянии мобилизационной готовности, прошло через неоднократные резкие подъемы смертности, настоящие демографические катастрофы, которые сами по себе противоречили общему смыслу демографической модернизации. Эти катастрофы имели три главные причины.

Первая — войны. Общие учтенные безвозвратные потери только советской регулярной армии за 1918–1989 г. приближаются к 10 млн. человек⁷ и превосходят потери любой другой европейской страны за три последних столетия⁸, потери же среди гражданского населения были еще большими. Мы еще вернемся к этому вопросу в гл. 10.

Вторая — политические репрессии. Первые десятилетия советской истории были отмечены кровавыми вспышками красного и белого террора, сопровождавшегося демографическими потерями. Особого размаха «красные» политические репрессии приобрели начиная с 1929 г. и проводились в массовых масштабах до самой смерти Сталина в 1953 г. Счет жертв репрессий, в том числе и обусловленных ими преждевременных смертей, идет на миллионы, но точное число все еще не известно, и до сих пор ощущается глухое противодействие выяснению истины.

Третья — голод, особенно голод 1932–1933 гг., когда в главнейших зерновых районах страны — на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье, в Крыму, а также в кочевых

⁷ Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. М., 1993, с. 407.

⁸ *Sivard R. L. World military and social expenditures 1991. 14th edition. Washington, World Priorities, 1991, p. 22–23.*

районах Казахстана миллионы людей, производивших продовольствие и кормивших страну, остались в полном смысле слова без куска хлеба. При этом руководством страны были заблокированы практически все способы помощи голодающим, а во многих случаях приняты меры к тому, чтобы они не смогли покинуть опустошенные села, где им оставалось только умирать. За один лишь голодный 1933 год число умерших выросло, по сравнению с тоже не очень благополучным 1932 годом, в 2,4 раза, или на 6,7 млн. человек⁹.

Полной статистики потерь бывшего СССР в социальных катастрофах XX века нет, судить о них можно лишь приблизительно. Приведем обобщенные оценки Максудова: примерно 10 миллионов преждевременно умерших, в основном в результате гражданской войны и голода 1921 г., за 1918–1926 годы; 7,5 миллионов (по более поздней оценке — 9,8) погибших от голода и репрессий за 1926–1938; 22,5–26,5 миллионов за 1939–1953 годы¹⁰. Всего получается не менее 40 миллионов жертв. «Почти половина мужчин и каждая четвертая женщина умерли за эти годы не своей смертью. А если взять только напряженные годы (1918–1922 и 1932–1949), 29 млн. мужчин погибло и лишь 20 млн. умерло в своей постели; 11 из 33 млн. женщин не прожили отпущенного им срока. Даже если принять минимальную цифру потерь, то и в этом случае они составят более трети умерших за эти годы»¹¹. Более поздняя оценка, выполненная специалистами Госкомстата России, не слишком отличается от оценки Максудова: 7 млн. человек с 1927 по 1941 г., и 26–27 млн. с 1941 по 1945 г.¹². Размеры потерь, вероятно, будут уточняться, но никакие уточнения не могут изменить общей картины: примерно за 40 лет, с начала Первой мировой войны до конца Второй, в Российской империи — СССР погибло, не дождавшись естественной смерти, 40, а то и 50 миллионов человек.

Кровопролитные войны, массовые политические репрессии, непосильные экономические нагрузки, идеология жертвенности и героизма на всем протяжении существования СССР блокировали серьезную перестройку системы ценностей в том, что касалось здоровья и жизни человека. Невысокая цена того и другого воздействовала на всю систему общественных приоритетов, облегчала привилегированное положение военно-промышленного комплекса, сдерживала активность защитников экологического благополучия, пагубно отражалась на индивидуальном жизнеохранительном поведении людей. Уже знакомое нам противоречие советской модернизации, сопряжение материально-технологического модернизма с пережитками социальной архаики: старой системы ценностей, безденежных отношений, ограниченной свободы индивидуального выбора, государственного патернализма, — обостряясь, заводило любое движение в тупик.

Поначалу все это не было очевидным. Эпидемиологический переход в СССР разворачивался довольно быстро — за счет общих изменений в образе жизни людей, роста их образованности и информированности, а также за счет проведения относительно дешевых, но крупномасштабных санитарно-гигиенических мероприятий по оздоровле-

⁹ Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харьковская Т. Л. Население Советского Союза 1921–1991. М., 1993, с. 48.

¹⁰ Максудов С. Потери населения СССР. Venson, Vermont, 1989, с. 148, 187, 191, 200.

¹¹ Там же, с. 201.

¹² Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харьковская Т. Л. Цит. соч., с. 60, 77.

нию городской среды, массовой вакцинации населения и пр. Хотя реальная средняя продолжительность жизни многих поколений, попавших под жернова истории и пострадавших в годы демографических кризисов, была очень низкой, смертность в некризисные годы постепенно снижалась, а исчисленная для этих лет продолжительность жизни росла (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Ожидаемая продолжительность жизни в Российской империи и в СССР, 1896/1897—1989 гг., в годах*

<i>Годы</i>	<i>Мужчины</i>	<i>Женщины</i>	<i>Оба пола</i>
1896–1897	31,3	33,4	32,3
1926–1927	41,9	46,8	44,4
1938–1939	44,0	49,7	46,9
1958–1959	64,4	71,7	68,6
1964–1965	66,1	73,8	70,4
1978–1979	62,5	72,6	67,9
1989	64,6	74,0	69,5

* Данные 1896–1897 гг. относятся к Европейской России, остальные — к СССР в границах соответствующих лет; 1938–1939 г. — в границах после 17 сентября 1939 г.

Как и в случае с экономическим ростом, увеличение продолжительности жизни еще не означало преодоления отставания от западных стран, ибо продолжительность жизни росла и там. Перед Второй мировой войной ожидаемая продолжительность жизни для обоих полов в передовых странах Запада составляла 63–64 года, отставание от них СССР соответственно — 16–17 лет. Оно стало сокращаться, видимо, лишь в 40-е – 50-е годы. Общее ослабление экономической и политической напряженности в стране и некоторые более конкретные сдвиги, такие, как внедрение в практику антибиотиков, позволили поставить под контроль многие внешние факторы смертности и ускорили формирование новой структуры патологии (а значит, и причин смерти), характерной для относительно поздних стадий эпидемиологического перехода. На первое место среди причин смерти вышли болезни системы кровообращения и новообразования. К середине 60-х годов (правда, по официальным, возможно, завышенным оценкам) резко сократилась младенческая смертность (до 26–27 на 1000 родившихся как в СССР, так и собственно в России), а продолжительность жизни выросла в СССР до 66 лет у мужчин и 74 лет у женщин, в России соответственно — до 65 и 73. СССР вошел, наконец, в «клуб» стран с низкой для того времени смертностью (средняя продолжительность жизни 65 лет и более). В начале 60-х годов среди 35 стран с самой высокой продолжительностью жизни он занимал 22 место, опережая в это время даже такие страны, как Австрия, Бельгия, Финляндия, Япония. Однако это относительно благоприятное положение сохранялось недолго.

Успехи в борьбе со смертью во многих странах, в том числе и в СССР, в середине XX века были достигнуты, благодаря определенной стратегии борьбы за здоровье и жизнь человека, в известном смысле патерналистской, основанной на массовых профилактических мероприятиях, которые не требовали большой активности со стороны каждого. Однако к середине 60-х годов возможности этой стратегии в богатых и развитых странах оказались, видимо, исчерпанными. Они вступили в стадию «второго эпидемиологического перехода», выработали новую стратегию действий, новый тип профилактики, направленной на уменьшение риска заболеваний неинфекционного происхождения, особенно сердечно-сосудистых заболеваний и рака, и предполагавшей более активное и сознательное отношение к своему здоровью со стороны каждого человека. Значительно выросли и расходы на охрану и восстановление здоровья, что, в свою очередь, способствовало повышению его общественной ценности.

В СССР же ответ на новые требования времени не был найден, страна стала пробуксовывать на наезженной колее, и ее снова обогнали по уровню ожидаемой продолжительности жизни западные страны, в том числе и такие, которые ранее отставали от СССР или были с ним примерно на одном уровне. К началу 80-х годов СССР уже не входил в «клуб» стран с самой низкой смертностью (тогда — 40 стран с ожидаемой продолжительностью жизни 70 лет и более), его отставание от них быстро нарастало. Как следует из рис. 4.1, на котором приведены данные о продолжительности жизни населения России (до революции — Европейской России, после революции — Российской Феде-

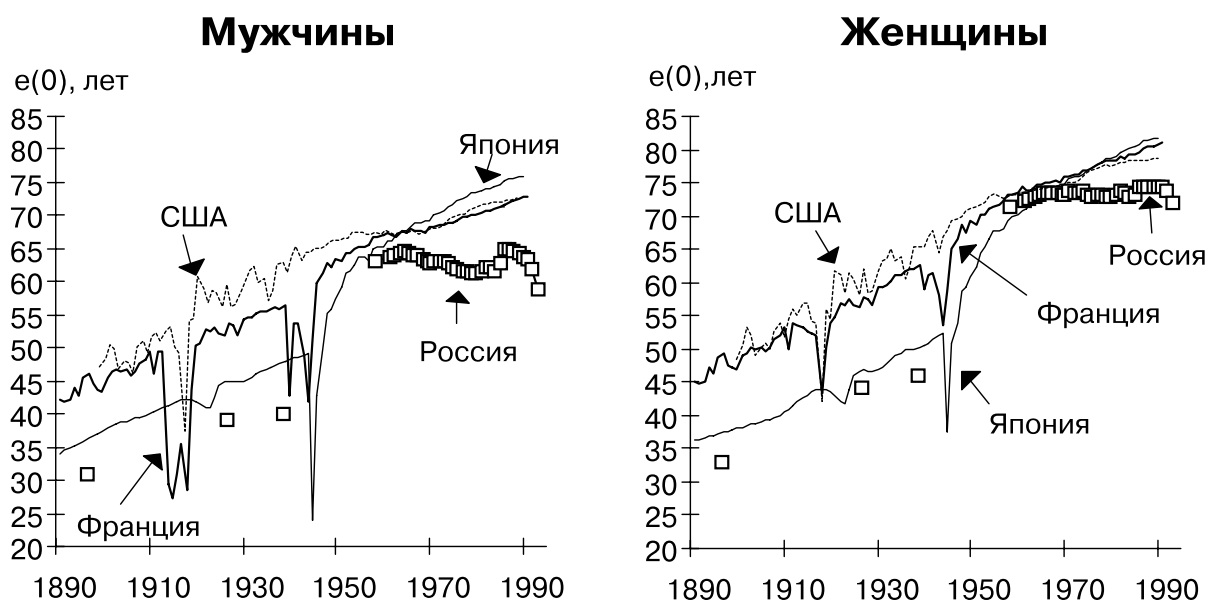


Рисунок 4.1. Изменения ожидаемой продолжительности жизни — $e(o)$ — в России, США, Франции и Японии с 1890 года.

Источник: Милле Ф., Школьников В., Эртриш В., Валлен Ж. *Современные тенденции смертности по причинам смерти в России: 1965–1993*. Париж, 1996, с. 74.

рации: ее показатели смертности были близки к средним по СССР) за сто лет, сближение с западными странами оказалось кратковременным эпизодом, сменившимся новым ростом отставания. Особенно невыгодно для России сравнение с Японией, которая долгое время находилась на одном с нею уровне, а затем совершила стремительный прорыв и прочно заняла место страны с едва ли не самой низкой в мире смертностью.

К концу 80-х годов стало ясно, что неучастие СССР в мировых успехах в борьбе со смертью и связанное с этим новое отставание, все время растущее (табл. 4.2), — не случайный и временный эпизод, а проявление глубокого кризиса системы, следствие укорененных в ней отсталых, консервативных принципов социального взаимодействия.

Таблица 4.2. Ожидаемая продолжительность жизни и младенческая смертность в СССР, России и некоторых европейских странах, 1960–1990 гг.

Страна	Ожидаемая продолжительность жизни, лет				Младенческая смертность (на 1000 родившихся)	
	Мужчины		Женщины		1960	1990
	1960	1990	1960	1990		
СССР	65,3	64,3	72,7	73,9	35,3	21,8
Россия	63,3	63,8	71,8	74,2	36,6	17,6
Великобритания	67,9	72,9	73,7	78,5	22,5	7,9
Германия (ФРГ)	66,9	72,9	72,4	79,3	35,0	7,0
Греция	67,3	74,6	72,4	78,5	40,1	9,7
Испания	67,4	73,3	72,2	80,4	43,7	7,6
Италия	72,3	80,1	72,3	80,1	43,9	8,2
Португалия	61,2	70,4	66,8	77,4	77,5	10,9
Франция	66,9	72,7	73,6	80,9	27,5	7,3
Швеция	71,2*	74,8	74,9*	80,4	16,6	6,0

* 1960–1964 гг.

Источники: Recent demographic developments in Europe. 1996. Strasbourg, Council of Europe, 1996, table 4.2; Statistique d mographique 1996. Eurostat, Luxembourg, 1996, p. 170; Население России 1996, М., 1997, с. 166.

Как ни гордились в СССР бесплатным здравоохранением и как ни велики были действительные заслуги этого здравоохранения на определенных этапах борьбы со смертью, в конце концов именно бесплатность и нерыночность медицины, равно как и уравнилельно-патерналистский характер социального обеспечения превратились в серьезное препятствие индивидуальной активности человека в борьбе за сохранение или

восстановление своего здоровья, за продление своей жизни, за здоровье и жизнь своих детей. Развитие здравоохранения, выделяемые ему ресурсы зависели от жестко монополизированных решений «центра». Никто не знал, сколько денег изымается у него на нужды здравоохранения и сколько действительно тратится на эти нужды, и не мог влиять на расходование средств. В результате централизованного распределения ресурсов здравоохранение, наряду с другими «непроизводительными» отраслями, получало лишь то небольшое, что оставалось от предельно милитаризованных «производственных» отраслей. Этот остаток явно не соответствовал масштабам новых задач по охране и восстановлению здоровья, выглядел просто жалким в сравнении с теми ресурсами, которые в это время шли на соответствующие нужды на Западе (табл. 4.3).

Таблица 4.3. Рост душевых затрат на нужды здравоохранения в СССР, США и Франции, 1960–1990 гг.

Год	Расходы на душу населения			Рост по отношению к 1960 г.		
	СССР, рубли	США, доллары	Франция, франки	СССР	США	Франция
1960	27	143	242	1	1	1
1970	49	346	816	1,8	2,4	3,4
1980	72	1064	3566	2,7	7,4	14,7
1990	124	2601	9521	4,7	18,2	39,3

Источники: Народное хозяйство СССР за разные годы; Statistical Abstract of the United States 1994. Washington, 1994, p. 109; Annuaire r trospectif de la France. S ries longues. 1948–1988, Paris, 1990, p. 190; Annuaire statistique de la France 1994, Paris, 1994, p. 241.

Цифры, приведенные в табл. 4.3, не учитывают динамики цен и покупательной способности валют, поэтому их прямое сопоставление едва ли оправдано. Но важен порядок величин, и при любых оговорках ясно: 72 рубля 1980 г. были настолько меньше 1064 долларов или 3566 франков, что рассчитывать в борьбе за снижение смертности на одинаковый с американцами или французами результат не было никаких оснований. Существуют более тщательные сравнения затрат на здравоохранение в СССР и на Западе, они также указывают на огромный разрыв, пусть и не такой большой, как в табл. 4.3, но все же столь значительный, что даже специалисты отказывались в него верить. И. Бирман, критиковавший доклад ЦРУ США об уровне потребления в СССР в 1976 г. в основном за *завышение* этого уровня, полагал, что советские затраты на здравоохранение американские эксперты *занизили*, и он скорректировал оценки затрат на здравоохранение, сделанные ЦРУ, в сторону повышения (по оценкам ЦРУ душевые затраты на здравоохранение в СССР были примерно втрое ниже, чем в США, согласно Бирману — примерно в два — два с половиной раза ниже)¹³. Эти поправки вызвали сомнения Г. Ханина, который полагал, что Бирман «недооценивает пороки советского обра-

¹³ Birman I. Personal consumption in the USSR and the USA. N.Y., 1989, p. 155.

зования и здравоохранения, которые, впрочем, особенно заметно проявились во второй половине 70-х годов и в 80-е годы»¹⁴.

Нищенский уровень здравоохранения был очень важным, но не единственным препятствием, на которое натолкнулась модернизация смертности в СССР, когда, пройдя период несомненных успехов, она застряла где-то на этапе «первого эпидемиологического перехода». Ибо «второй эпидемиологический переход», который никак не мог развернуться в СССР, был в принципе несовместим со всеобъемлющим патернализмом «социалистического» здравоохранения и вообще со всеми сохранявшимися и охранявшимися рудиментами старой системы ценностей. Новая стратегия борьбы со смертью требовала, чтобы на смену пассивному принятию проводимых органами здравоохранения мер пришла заинтересованная индивидуальная активность самого населения, направленная на оздоровление среды обитания, всего образа жизни, заботу о своем здоровье, искоренение вредных и внедрение полезных привычек и т. п. Но такие требования плохо сочетались с нараставшей социальной апатией, разочарованием в общественных идеалах «мобилизационного периода» советской истории. Застойные десятилетия, пришедшие на смену периоду «бури и натиска», консервировали маргинальность новых городских слоев, оказавшихся в культурной и идеологической пустоте, и также делали их неспособными к активной борьбе за сохранение своего здоровья и жизни. Алкоголизм и тесно связанная с ним чрезвычайно высокая смертность от несчастных случаев или насилия — прямое следствие этой общей социальной ситуации.

В результате, советское общество до последнего дня существования СССР так и не смогло перейти к давно назревшему этапу «второго эпидемиологического перехода» и продолжить перестройку определяющей уровень общественного здоровья структуры медицинской патологии и причин смерти. Модернизация всего процесса вымирания поколений осталась незавершенной. С одной стороны, не были до конца решены основные задачи ранних этапов эпидемиологического перехода и сохранялась высокая экзогенная смертность от инфекционных заболеваний, болезней органов дыхания и пищеварения, несчастных случаев и травм. С другой же стороны, общество не выработало эффективных средств борьбы с типичной для всех индустриальных стран эндогенной смертностью, она в СССР была намного более ранней, чем в Европе, Северной Америке или Японии.

Все это обернулось огромными демографическими, а значит, и экономическими потерями. Демографические потери от высокой смертности можно оценить, сравнивая фактическое число смертей с гипотетическим, каким оно могло бы быть, если бы возрастные коэффициенты смертности в России были такими же, как в типичных западных странах. Разницу между гипотетическим и фактическим числом смертей можно интерпретировать как «избыточную» смертность. Если принять за основу для сравнения уровни смертности Великобритании или Франции, то в 1965 г. «избыточные» смерти мужского населения РСФСР составляли 18% всех смертей, к 1975 г. эта доля повысилась до 34–35%, к 1984 — до 46–48%. Но особенно наглядно сравнение абсолютных чисел смертей. Так, приняв за основу для сравнения возрастные уровни смертности мужского

¹⁴ Ханин Г. Советский экономический рост: анализ западных оценок. Новосибирск, 1993, с. 126.

населения Великобритании в соответствующие годы, получаем, что только за 10 лет с 1975 по 1985 г. и только у мужчин в возрасте от 20 до 50 лет число «избыточных» смертей составило почти 1,6 млн. Это примерно соответствует совокупным потерям (включая потери гражданского населения) США, Великобритании и Франции во Второй мировой войне.

4. 2. Переворот в рождаемости

В начале XX века уровень рождаемости в России был одним из самых высоких в мировой истории. На рубеже столетий общий коэффициент рождаемости по 50 губерниям Европейской России был близок к 50 на тысячу человек населения¹⁵, тогда как в западноевропейских странах он колебался вокруг 30 на тысячу. Показатель итоговой (суммарной) рождаемости (число рождений на одну женщину), по некоторым оценкам, превышал 7¹⁶, число рождений на одну женщину, состоявшую в браке на протяжении всего периода плодovitости, было больше 9¹⁷.

Сохранение высокой рождаемости в России имело объективное оправдание в высокой смертности, но и то, и другое уже воспринималось в начале века как признаки отсталости. Снижение рождаемости в Европе было важной составляющей общей модернизации, сохранение высокой рождаемости в России — ее серьезной помехой. Как писал в начале века демограф П. Куркин, «существующий... уровень рождаемости... чрезмерно далеко отстоит от той ее нормы, при которой наибольший прирост населения достигается с наименьшими потерями, неизбежными в деле производства потомства... Есть полное основание... ожидать, что... улучшение экономических, гигиенических и т. д. условий... у нас в России, скорее всего, должно привести к понижению рождаемости..., к достижению той ее наиболее полезной нормы, которая обеспечила бы как удовлетворительный прирост, так и сохранение бесполезно растрчиваемых в настоящее время производительных сил населения и создание более крепкого и жизнеспособного потомства»¹⁸. П. Миллюков, говоря о высокой российской рождаемости, считал ее «биологической причиной... слабое развитие индивидуальности, экономической причиной — низкий уровень благосостояния и социальной — обособленность низшего общественного слоя и отсутствие надежды подняться выше своего положения»¹⁹.

Во второй половине XIX века рефлексия по поводу тягот высокой рождаемости и многодетности обнаруживается уже не у одних только образованных классов. О них все больше задумываются и крестьяне, в литературе того времени — у Л. Толстого, Г. Успенского, А. Энгельгардта, равно как и у менее известных авторов, изучавших жизнь русской

¹⁵ Рашин А. Г. Население России за 100 лет. М., 1956, с. 168.

¹⁶ Kuczynsky R. The measurement of population growth. N.Y.-London-Paris, 1969, с. 213.

¹⁷ Вишнеvский А. Г. Ранние этапы становления нового типа рождаемости в СССР. // Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. М., 1977, с. 132–133.

¹⁸ Куркин П. И. Статистика движения населения в Московской губернии в 1883–1897 гг. М., 1902, с. 87.

¹⁹ Миллюков П. Очерки по истории русской культуры. Часть I. Население, экономический, государственный и сословный строй. М., 1918, с. 27.

деревни, — имеется множество свидетельств на этот счет. На первый план выходили обычно экономические трудности. «Жизнь крестьянская, — отмечал один из исследователей, — с каждым годом становится дороже... „Хорошо иметь детей — говорят крестьяне, — если их один, двое или, самое большее, трое. Больше этого они становятся родителям в тягость“. Дальнейшая плодовитость супругов-крестьян — божье наказание. Чем больше в семьях детей, тем больше бедности, недостатка и голода»²⁰.

Постепенно приходило осознание и других — неэкономических — обременительных сторон высокой рождаемости, в частности, ее влияния на здоровье женщины. Авторы XIX века постоянно указывали на повсеместное распространение женских болезней как следствие раннего начала половой жизни и деторождения, частых родов, несоблюдения простейших гигиенических требований во время беременности и родов. «Так называемые женские болезни терзают огромное большинство деревенских женщин»²¹. «Каждому врачу, практиковавшему среди сельского населения, известно, насколько часто встречаются женские болезни...: большинство этих болезней обязано своим происхождением родовому акту»²². Часты были выкидыши, мертворождения. За рождение большого числа детей женщины платили дорогую цену, и это не могло не оставлять следа в народном сознании.

Пока сохранялась высокая смертность, критика высокой рождаемости могла звучать лишь очень приглушенно, но сам факт появления такой критики говорит о том, что высокая рождаемость все чаще воспринималась как демографическая архаика и что в обществе назревала готовность расстаться с нею. Это и произошло в СССР в 30-е – 50-е годы, причем снижению рождаемости здесь были свойственны те же черты и противоречия, что и другим модернизационным процессам, конвергентное с Западом развитие сочеталось с дивергентным.

Первые признаки снижения рождаемости в России появились к началу XX века, но они были едва заметны. Революция, Первая мировая и гражданская войны не могли, разумеется, не понизить рождаемость, но к середине 20-х годов восстановился ее очень высокий довоенный уровень. И лишь с конца 20-х годов началось его новое стремительное и теперь уже необратимое падение. Понадобилось всего три–четыре десятилетия, чтобы пробежать путь, который на Западе занял столетия. К концу 50-х годов Россия и другие европейские республики СССР по уровню рождаемости не отличались от западных стран (табл. 4.4).

Сто женщин из поколений, родившихся в России в последнем пятилетии XIX века, давали жизнь 408 детям²³, тогда как их французские сверстницы — 210, шведские — 194, американские — 253²⁴. Но уже для поколений, родившихся в 20-е годы, различия

²⁰ Степанов В. Сведения о родильных и крестильных обрядах в Клинском уезде Московской губернии. // Этнографическое обозрение, 1906, 3–4. М. 1907, с. 221.

²¹ Успенский Г. И. Власть земли. // Собр. соч. в 9 томах. М., 1956, т. 5, с. 186.

²² Афиногенов А. О. Жизнь женского населения Рязанского уезда в период детородной деятельности женщины и положение дела акушерской помощи этому населению. СПб., 1903, с. 60.

²³ Сколько детей будет в советской семье. М., 1977, с. 15.

²⁴ Festy P. La fécondité des pays occidentaux de 1870–1970. Travaux et documents, Cahier n° 85. Paris, 1979, p. 300–301.

практически исчезают. Число детей на сто замужних женщин из поколений, родившихся в середине 20-х годов, составило в России 227, на Украине 202, в Белоруссии 240 и т. д.²⁵. Если же мы обратимся к поколениям женщин, родившихся около 1940 г., то увидим, что рождаемость в европейских республиках СССР во многих случаях опустилась ниже западных отметок. В России — 189 рождений на сто женщин, на Украине — 183, в Белоруссии — 195²⁶, тогда как в Англии — 238, во Франции — 247, в Германии (ФРГ) — 197, в США (белое население) — 268 и т. д.²⁷.

Таблица 4.4. Коэффициент суммарной рождаемости в России, на Украине и в некоторых западных странах

Годы	Россия	Украина	Велико-британия	Франция	Германия	США
1896–1900	7,06*	7,50	3,62	2,90	5,04	...
1926–1930	5,37*	5,27	2,01	2,30	2,10	3,29
1960	2,56	2,26	2,71	2,73	2,37**	3,65
1985	2,06	2,05	1,80	1,81	1,28**	1,84
1990	1,90	1,85	1,83	1,78	1,45**	2,08

* Европейская Россия, включая Украину.

** В границах ФРГ до воссоединения.

Источники: Kuczynsky R. The measurement of population growth. N.Y.-London-Paris, 1969, с. 213; Птуха М. В. Очерки по статистике населения. М., 1960, с. 447; Chesnais J.-C. La transition démographique. Paris, 1986, p. 520–521; Recent demographic developments in Europe. 1995. Strasbourg, Council of Europe, 1995, p. 40, 267; Statistical Abstract of the United States 1994, p. 78.

Стремительное снижение рождаемости вкупе с катастрофическими подъемами смертности, о которых говорилось выше, свели на нет демографический взрыв, свойственный большинству стран на сходных этапах демографического перехода. С сиюминутной точки зрения эпохи ускоренного «построения социализма», это было благом, ибо позволило избежать дополнительных экономических и социальных перегрузок, которые и так были весьма велики в этот период. С точки же зрения долговременных интересов СССР, а особенно России с ее огромными слабо заселенными просторами, необратимая потеря потенциального прироста населения была, скорее, проигрышем, нежели выигрышем.

Оценить этот потерянный прирост для России можно лишь приблизительно. Согласно С. Захарову, если исходить из предположения, что темпы изменения численности населения, наблюдавшиеся здесь в относительно спокойные годы между кризисами (в 1900–1913 гг. — 1,85%, в 1926 — 1,8%, в 1939 — 1,75%, в 1950 — 1,7%, в 1959 — 1,6%,

²⁵ Воспроизводство населения СССР. М., 1983, с. 231.

²⁶ Вишневикий А. Г. и др. Новейшие тенденции рождаемости в СССР. // Социологические исследования, 1988, 3, с. 60–61.

²⁷ Festy P. Op. cit., p. 300–301.

в 1979 — 0,7%, в 1991 — 0,35%), очерчивают минимальные границы темпов роста населения в условиях «нормальной» модернизационной эволюции российского общества, то можно получить кривую изменения гипотетических «бескризисных» темпов роста населения России (рис. 4. 2). Ниже они могли бы быть лишь при гипотезе более быстрого, чем на самом деле, перехода к низкой рождаемости, но для такого предположения нет оснований.

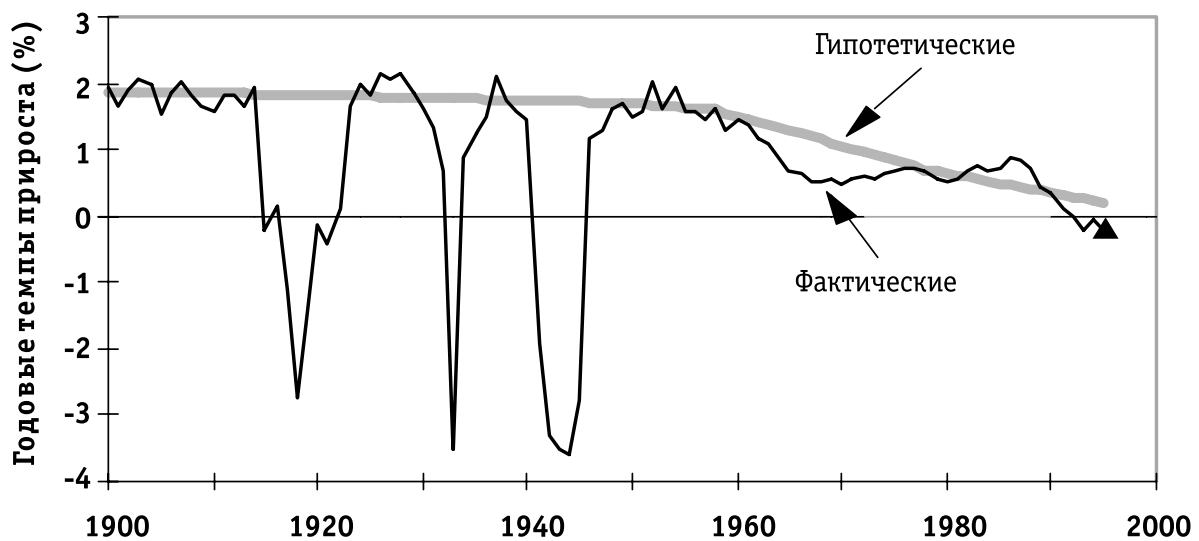


Рисунок 4.2. Фактические и гипотетические (при отсутствии демографических кризисов) темпы прироста численности населения на территории Российской Федерации в XX веке, %.

Источник: *Население России 1996. М., 1997, с. 8.*

Соответственно по-иному росла бы и абсолютная численность россиян (табл. 4.5). К 1995 г. она могла быть сопоставимой с численностью населения США и всего на 20 млн. меньше, чем фактическое население всего СССР накануне распада.

Тем не менее само по себе снижение рождаемости, быстрое приведение ее уровня в соответствие с новыми условиями демографического равновесия имело несомненный модернизационный смысл. Оно означало, что советское общество сразу же воспользовалось плодами демографической, а значит, и социальной свободы, расширившейся в результате снижения смертности. В очень большой мере этот социальный выигрыш был принесен на алтарь «построения социализма», советской мобилизационной экономики. Без него, в частности, невозможен был бы чрезвычайно высокий уровень занятости женщин, которым прославился бывший СССР. Но несомненно и то, что плоды новой демографической и социальной свободы ощутил и каждый человек, что она коренным образом изменила положение женщин и детей, открыла новые, пусть вначале лишь потенциальные, возможности самореализации личности, семейной и личной жизни.

Таблица 4.5. Фактическая и гипотетическая численность населения и накопленные демографические потери России в XX в., 1900–1995 гг., млн. человек

Год	Фактическая численность	Гипотетическая численность	Накопленные демографические потери
1900	71,1	71,1	-
1920	88,2	102,5	14,3
1940	110,1	145,9	35,8
1960	119,0	203,6	84,6
1980	139,0	254,1	115,1
1995	148,3	269,6	121,3

Источник: Население России 1996, с. 8.

4. 3. Неомальтузианство по-советски

Снижение рождаемости в СССР было еще одним проявлением «инструментально-го» обновления, сопровождавшегося постоянным стремлением властей да и самого общества сохранить старые способы культурной детерминации и практической реализации нового демографического поведения. СССР переходил к нему как страна догоняющего развития, при котором общество перепрыгивает через целые этапы, пройденные предшественниками, не имея накопленного ими опыта. Умеренное снижение рождаемости в Западной Европе началось давно, не позднее XVI века. Для этого здесь — задолго до Мальтуса — использовался «мальтузианский» способ откладывания браков, а то и полного отказа от них. «Мальтузианская» стратегия брачности-рождаемости подготовила и облегчила переход к новой, «неомальтузианской» стратегии сокращения рождаемости путем ее намеренного ограничения в браке. Последнее поначалу лишь дополняло старый способ откладывания браков и только постепенно стало его вытеснять.

В СССР все было по-иному. Выбрать «мальтузианский» вариант страна уже опоздала, ибо не знала поздней европейской брачности. Запад ушел далеко вперед по пути демографического перехода, чтобы сравняться с ним, требовались кардинальные и быстрые перемены прокреативного поведения, которые мог обеспечить только неомальтузианский выбор. В СССР он прокладывал себе дорогу с большим трудом.

Снижение рождаемости в СССР было закономерным следствием всей экономической и социальной политики властей и шло очень быстро. Но официальная советская идеология, как и во всем остальном половинчатая и противоречивая, полумодерни-

стская, полутрадиционалистская, на словах долгое время хранила верность «народному» идеалу многодетности, расшаркивалась перед ним, видела в высокой рождаемости предмет гордости. Как говорилось в послевоенном издании Большой Советской Энциклопедии, «высокая рождаемость в СССР является следствием непрерывного роста благосостояния трудящихся, заботы Коммунистической партии и Советского государства о здоровье населения, отсутствия безработицы»²⁸. «Народное» (а скорее, все-таки псевдонародное) антимальтузианство усиливалось «теоретическим», характерным для марксистской идеологической традиции. В результате быстрое и повсеместное распространение неомальтузианской практики намеренного ограничения супругами числа рождений сопровождалось постоянным декларированием официального антимальтузианства. Вся история перестройки прокреативного поведения в СССР несет на себе печать этого противоречия.

Строгий запрет аборта, существовавший в дореволюционном российском законодательстве, уступил место его полной легализации в 1920 г. Но правительственное постановление, разрешающее аборт, было двусмысленным. Аборт никак не связывался с объективной необходимостью планирования семьи, и не ставился вопрос о том, что же может быть альтернативой ему. С другой стороны, постановление объявляло аборт «злом для коллектива», объясняло «моральными пережитками прошлого и тяжелыми экономическими условиями настоящего» и предсказывало его постепенное исчезновение²⁹. Вопреки этим ожиданиям, аборт не только не исчез, но получил стремительное распространение в течение нескольких последующих десятилетий, при том, что либеральное законодательство в отношении аборта начала 20-х годов в 30-е годы сменилось запретительным и репрессивным. В этом нет ничего удивительного. Поспешная легализация аборта без понимания истинного смысла этой меры лишь создала иллюзию свободы прокреативного выбора, заблокировав при этом поиски альтернативных путей планирования семьи. Неподготовленность общества к столь радикальному решению, традиционное неприятие намеренного ограничения деторождения родителями вызвали реакцию отторжения — запрет аборта стал частью общей антимодернистской реакции тридцатых годов. Косвенно этот запрет распространился и на контрацепцию — в запретительном постановлении 1936 г., как и в разрешительном 1920 г., ни о какой альтернативе аборту не говорилось, а ссылки на «условия социализма», «повышение материального благосостояния трудящихся», «максимальное развитие сети родильных домов, детских яслей, детских садов»³⁰ имели смысл только в том случае, если противопоставлялись всякому ограничению деторождения. В условиях сталинского СССР это практически исключало любую активность, направленную на развитие контрацепции.

²⁸ БСЭ, второе издание. Т. 36. М., 1955, с. 615.

²⁹ Об искусственном прерывании беременности. Постановление НК здравоохранения и НК юстиции от 16 ноября 1920 г. // Постановления КПСС и Советского правительства об охране здоровья народа. М., 1958, с. 63–64.

³⁰ О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовной ответственности за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах. Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. // Постановления КПСС и Советского правительства об охране здоровья народа, с. 265.

Если аборт можно было запретить, то с демографическими и социальными сдвигами, которые делали планирование семьи объективной необходимостью, нельзя было ничего поделать. Эта необходимость оказалась сильнее не только закона, но и традиции. Имеется множество свидетельств неприятия народной моралью мер предотвращения, а тем более прерывания беременности в дореволюционной России. Если же все-таки женщины тайком прибегали к ним, то примитивность используемых мер сама свидетельствовала об их малой распространенности³¹. Даже когда после революции (в 1920 г.) законодательные ограничения на аборт были сняты и стало возможно его производство врачом, население далеко не сразу воспользовалось этой возможностью. «Случаи искусственного выкидыша среди крестьянок, обследованных нами, не отмечены, — говорилось в отчете Института социальной гигиены (1926 г.). — Большая часть крестьянок до разрешения производить аборт легально и не знали о возможности искусственного прерывания беременности. Во время обследования встречались женщины, которые не знали о праве на аборт... Большинство женщин боятся операции: «выскабливая, потеряешь здоровье», «боюсь смерти», «носи да носи»... Нежелавшие иметь детей могли избавиться от родившихся уже, оставляя их без ухода: «больно жизнь хороша без детей», — говорила мать, у которой умерли все восемь рожденных ею»³².

Тем более удивительно, что уже в 1936 г. понадобилось законодательное запрещение аборта, которое, впрочем, не помешало его дальнейшему распространению. У миллионов семей часто не было иного выхода, нежели прервать незапланированную беременность, — вопреки закону и вопреки традиции, аборт стал едва ли не основным инструментом снижения рождаемости в СССР. Отмена в 1955 г. запрета на аборт была лишь признанием повсеместно распространившейся практики. Но при этом снова та же логика, что и в 1920 и 1936 гг.: аборт — зло, «предотвращение абортов может быть обеспечено путем дальнейшего расширения государственных мер поощрения материнства и мер воспитательного и разъяснительного характера»³³. В 1955 г. вряд ли кто-нибудь ожидал, что женщины в России, на Украине или в Прибалтике станут рожать по 8 или 10 детей, но никаких указаний на то, как регулировать число детей иным способом, нежели аборт, и в чем здесь могут помочь «меры поощрения материнства», в Указе 1955 г. нет. По существу, это был указ, подталкивающий к абортам.

Последующие годы не принесли существенных изменений. Советское общество за семь десятилетий своего существования так и не смогло признать до конца права свободного прокреативного выбора женщины и семьи, обеспечить им условия, необходимые для реализации этого права, для свободного, сознательного и безопасного регулирования деторождения. После повторной легализации абортов в 1955 г. их число в СССР стало стремительно расти, достигнув в 60-е – 80-е годы 7–8 миллионов в год. «Вторая контрацептивная революция», совершившаяся на Западе и давшая женщинам весьма совершенные противозачаточные средства, миновала СССР, многие его бывшие республики стали мировыми рекордсменами по числу абортов. При примерно одинако-

³¹ См.: Вишневецкий А. Г. Ранние этапы становления нового типа рождаемости в СССР. // Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. М., 1977, с. 126–128.

³² Синкевич Г. П. Вологодская крестьянка и ее ребенок. М.-Л., 1929, с. 46.

³³ Об отмене запрещения абортов. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 г. // Постановления КПСС и Советского правительства об охране здоровья народа, с. 333.

вом уровне рождаемости годовое число абортотворов на сто родов на рубеже 80-х и 90-х годов составляло в России 196, в Белорусии — 153, на Украине — 164, в Латвии — 126, в Эстонии — 117, тогда как в Швеции оно равнялось 30, в Италии — 29, в Великобритании — 23, во Франции — 21, в Финляндии — 20, в Австрии — 17, в Германии (ФРГ) — 11, в Нидерландах — 10³⁴.

Все это не означало, что рождаемость в СССР не модернизировалась, а свобода прокреативного выбора родителей не получила общественного признания. Несмотря на постоянную официальную критику «неомальтузианства», советское общество или, во всяком случае, его «европейская» часть очень быстро стало по преимуществу таким же неомальтузианским, как и все западные. Но при этом планирование семьи, сделавшееся повседневной практикой миллионов, не получило должной институциональной, материальной и правовой поддержки и развивалось стихийно, сбиваясь поневоле на самый неэффективный, примитивный и опасный путь.

Распространение планирования семьи и снижение рождаемости отозвались на многих сторонах жизни человека и общества, но прежде всего и самым непосредственным образом они повлияли на институт семьи и семейные отношения людей.

4. 4. Кризис патриархальной семьи

Господствующие образцы семейной жизни в дореволюционной России давала патриархальная крестьянская семья, по словам Б. Миронова, — «маленькое абсолютистское государство» и в то же время «община в миниатюре»³⁵, кирпичик, из которого были построены сельский «мир» и все русское общество. Это и прежде подчеркивали разные авторы, размышлявшие об особенностях русской жизни. К. Кавелин, например, даже видел в такой семье источник своеобразия общественной жизни великороссов — в отличие, скажем, от украинцев. «В основе всех частных и общественных отношений, — писал он, — лежит один прототип, из которого все выводится, — именно двор или дом, с домоначальником во главе, с подчиненными его полной власти чадами и домочадцами... Этот начальный общественный тип играет большую или меньшую роль во всех мало развитых обществах; но нигде он не получил такого преобладающего значения, нигде не удержался в такой степени на первом плане во всех социальных, частных и публичных отношениях, как у великороссов»³⁶.

И в конце XIX – начале XX века крестьянская семья все еще оставалась главным хранителем отшлифованной русской историей «частных и общественных отношений», выработанного веками «лада» народной жизни. Но сама эта жизнь быстро менялась, порожденные переменах напряжения и противоречия, умножаясь и обостряясь, отзывались на семье, и она все больше превращалась в зеркало «русского кризиса», в котором отражался нараставший всеобщий разлад.

³⁴ Демографический ежегодник СССР. М., 1990, с. 359, 361; Recent demographic developments in Europe. 1995. Individual part.

³⁵ Миронов Б. Н. Семья: нужно ли оглядываться в прошлое? // В человеческом измерении. М., 1989, с. 228, 233.

³⁶ Кавелин К. Мысли и заметки о русской истории. // Кавелин К. Д. Наш умственный строй. М., 1989, с. 197.

Спаянная с общиной традиционная крестьянская семья все больше вступала в противоречие с менявшимися гражданскими институтами. Это хорошо видно на примере дебатов по Столыпинской аграрной реформе в Государственной думе. Указ о реформе предусматривал передачу общинных земель в собственность крестьянам, но возник вопрос, должна ли эта собственность быть семейной или личной. Мнения депутатов разделились. Некоторые из них пытались отстоять семейную собственность, а с ней и старый принцип организации семейной жизни, но были совершенно беспомощны, когда надо было объяснить, кто будет субъектом собственности. «Я думаю, — наивно говорил один из них, — что если будет семейная собственность и если понадобится продать семейную землю для какого-нибудь благого дела или для покупки в другом месте земли, то в этом случае из семейства никто спорить и прекословить не будет и препятствия никакого не встретится»³⁷.

Противники же семейной собственности, напротив, доказывали, что она не вписывается в логику гражданского права и что привычные крестьянам формы семейных отношений не могут быть с нею согласованы. Крестьянская семья в России была институтом, в котором «домохозяин, в известном отношении, функционировал как делегат власти, которую ему давал закон, а не частное его право на землю»³⁸. Кто субъект права в условиях семейной собственности, не могут определить ни Сенат, ни юристы, поэтому, остроумно заметил один из депутатов, ее сторонники «предоставляют это сделать волоостным писарям»³⁹.

Противники индивидуальной собственности на землю опасались, что она приведет к разрушению патриархальной семьи, и, видимо, были правы в своих опасениях. Но спасти эту семью все равно уже нельзя было. Она стала разрушаться и разрушилась, несмотря на то, что индивидуальная частная собственность на землю так никогда и не утвердилась в России. Патриархальная семья была взорвана изнутри, потому что изменились взаимное положение членов семьи, их роли и функции, вся система внутрисемейных отношений.

В старой семье торжествовал и усваивался с молоком матери главный принцип соборного, холистского мира: *человек для...* «Если мы захотим... вникнуть во внутреннюю жизнь нашей избы, — писал в середине прошлого века И. Киреевский, — то заметим..., что каждый член семьи... никогда в своих усилиях не имеет в виду своей личной корысти. Мысли о собственной выгоде совершенно отсек он от самого корня своих побуждений. Цельность семьи есть одна общая цель и пружина»⁴⁰. *Человек для семьи* — таков описываемый и защищаемый Киреевским идеальный принцип семейной солидарности, основа вековых семейных устоев. Но он-то и оказался одной из главных жертв разраставшегося конфликта власти земли и власти денег, обострявшегося противоречия между общим и личным в семье. На рубеже веков это противоречие уже хорошо осознавалось.

³⁷ Прения по Указу 9 ноября 1906 г. в Государственной Думе. СПб., 1911, с. 56.

³⁸ Там же, с. 62.

³⁹ Там же.

⁴⁰ *Киреевский И. В.* О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. // *Киреевский И. В.* Критика и эстетика. М., 1979, с. 284.

«С каждым годом растет стремление крестьян веками выработанную форму общест-ва, большую семью, заменить новой, которая дает и больший простор инициативе отдельного лица, и возможность самостоятельного, независимого существования, растет стремление заменить большую семью малой»⁴¹. «Спросите любого из здешних крестьян, где лучше работать, в большой ли или в малой семье, он ответит вам всегда одно и то же: „в большой семье беспример лучше робить“... Но предложите крестьянину вопрос: „А где лучше жить — в большой семье или в маленькой?“ И он вам тот час же ответит: „не приведи бог никому жить в большой семье!“»⁴². «Все зашаталось, все рвется из тисков, из нескладных условий, требует своего; все это, задохнувшееся в деспотизме свекрови, мужа, жены, брата, рвется на свободу, не хочет покоряться...»⁴³.

В этом «требует своего» там, где еще недавно торжествовало общее, — ключ к пониманию семейного разлада в российской деревне. До поры растворение человека в семье было оправдано экономической и демографической необходимостью, интересами физического выживания. Но стоило этим двум необходимым немного ослабеть, и жесткая предопределенность человеческой судьбы лишилась своего оправдания, привычные семейные отношения перестали удовлетворять людей, члены семьи начали «бунтовать». Тогда-то и вышел на поверхность скрытый конфликт большой и малой семьи, «работы» и «жизни», патриархальная семья оказалась в кризисе.

Быть может, главной силой, взорвавшей изнутри старинный семейный уклад и ускорившей его кризис, стала женщина. И. Киреевский находил «первый зародыш знаменитого впоследствии учения о всесторонней эмансипации женщины» в «нравственном гниении высшего класса» европейского общества⁴⁴. Но, видимо, не только в европейской заразе и «высших классах» коренились причины нарастающей в России борьбы за расширение женских прав. В литературе конца прошлого — начала нынешнего века много писалось о «бабьем бунте» в русской деревне.

В патриархальной семье на женщину смотрели прежде всего как на семейную работницу, способность работать нередко была главным критерием при выборе невесты. «Женский труд в крестьянской семье и хозяйстве ужасен, поистине ужасен, — писал Глеб Успенский. — Глубокого уважения достойна всякая крестьянская женщина, потому что эпитет „мученица“, право, не преувеличение почти ко всякой крестьянской женщине»⁴⁵. Мученицей делали женщину не только труд, но и несправедливость, зависимость ее от мужа, отца, свекрови и то, что ее роль работницы находилась в постоянном противоречии с ее же ролями жены и матери. «В большой семье ни сила, ни ум, ни характер, — ничто не спасет женщину от подчинения и связанных с ним притеснений... Значение ее как жены здесь стоит на втором плане. Ее муж — не главный в семье, а по-

⁴¹ *Богаевский П. М.* Заметки о юридическом быте крестьян Сарапульского уезда Вятской губернии. // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России (Обычное право, обряды, верования и пр.). Вып. I. Под ред. Н. Харузина. М., 1889, с. 5.

⁴² *Тихонов В. П.* Материалы для изучения обычного права среди крестьян Сарапульского уезда Вятской губернии. // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. III. Под ред. Н. Харузина. М., 1891, с. 65–66.

⁴³ *Успенский Г. И.* Через пень-колоду. // Собр. соч. в 9 томах. Т. 6, с. 235.

⁴⁴ *Киреевский И. В.* Цит. соч., с. 285.

⁴⁵ *Успенский Г. И.* Власть земли, с. 183.

тому и она должна определить свои отношения не к нему одному, а прежде всего к другим членам семьи», — утверждал автор конца прошлого века⁴⁶.

По мере того, как вместе с рублем в деревню проникали городские заработки, городские формы труда и быта, вообще новые веяния городской жизни, по-новому воспринималось и положение женщин в семье, нарастало их недовольство. Интуитивное, плохо осмысленное, оно тем не менее было ответом на менявшиеся условия и само было частью перемен, которые подспудно вызревали в России, причем в тех общественных слоях, что и слыхом не слыхивали о европейском «нравственном гниении». Протест против деспотизма патриархальной семьи был первым естественным проявлением такого недовольства. «Мужик каждый говорит, что все разделы идут от баб, потому что народ нынче „слаб“, а бабам воля дана большая, потому де, что царица малахвест бабам выдала, чтобы их не сечь...» «Весь бунт от баб: бабы теперь в деревне сильны»⁴⁷. «Чья власть удивительно возросла — тихо, незаметно, под шум перемены отношений — это власть матери. Она отвоевала не только долю юридической свободы, но заставила поделиться мужа и верховными правами родительскими»⁴⁸.

«Бабий бунт» в деревне — лишь одно, хотя и очень яркое проявление назревавших, начинавшихся семейных перемен. Рядом с «женской» их линией видна еще одна — «детская».

В народном сознании было глубоко укоренено представление о безграничных правах родителей по отношению к детям и столь же безграничном долге детей по отношению к родителям. Критические голоса раздавались еще в XVIII веке. (Отцовское наставление у А. Радищева: «Изжените из мыслей ваших, что вы есте под властью моею. Вы мне ничем не обязаны... Не должны вы мне ни за воскормление, ни за наставление, а меньше всего за рождение... Вкушая веселие, природой повеленное, о вас мы не мыслили...» и т. д.⁴⁹) Но даже в конце XIX века родительская власть была очень велика. Все еще «встречалось выражение «отец заложил сына» (то есть отдал в работу на определенный срок, а деньги взял вперед)»⁵⁰. Родителям принадлежало решающее слово, когда речь шла о женитьбе, а особенно о замужестве детей. Даже и более поздний автор отмечает — в 20-е годы XX века, — что «в крестьянском мировоззрении отсутствует пункт об ответственности родителей перед детьми, но зато ответственность детей перед родителями существует в преувеличенном виде»⁵¹.

И все же к концу XIX века старые семейные порядки в отношениях родителей и детей уже трещали по швам, ослабли и былое уважение родителей, и былая покорность им, хотя внешне многое еще сохранялось. «В отношениях детей к родителям до сих пор еще живет и действует в вопросе о браках принцип невмешательства детей в распоря-

⁴⁶ Желобовский А. И. Семья по воззрениям русского народа, выраженным в пословицах и других произведениях народно-поэтического творчества. Воронеж, 1892, с. 40.

⁴⁷ Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем 1872–1887. М., 1960, с. 359, 361.

⁴⁸ Звонков А. П. Современный брак и свадьба среди крестьян Тамбовской губернии Елатомского уезда. // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России ... Вып. I, с. 64.

⁴⁹ Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Гл. Крестьяцы.

⁵⁰ Богаевский П. М. Цит. соч, с. 19

⁵¹ Внуков Р. Я. Противоречия старой крестьянской семьи. Орел, 1929, с. 17.

жение их судьбою. Для недалекого прошлого это можно было утверждать абсолютно — теперь не то... Все более и более захватывает себе право сельская молодежь, а в делах брака особенно падает авторитет родительский»⁵². «За последнее время все более и более обозначаются границы их [родителей] действительной власти»⁵³. В одном из очерков Г. Успенский рассказывает о старике, которого, по его словам, сын выгнал из дому. Другой старик не верит ему. «Пустое... Это они так, ... славу о себе пускают... Как это он может отца своего прогнать, когда ему отец все предоставил?» Автор же замечает от себя: «Возможность существования легенды о том, что сын прогнал отца, возможность даже помощью ее распускать о себе хорошую молву невольно говорила о том, что в деревенских порядках не все хорошо и благополучно»⁵⁴.

В той мере, в какой власть родителей еще сохранялась, она все больше держалась на одной лишь прямой экономической зависимости детей. «Не будь... материальной зависимости, изменись хотя немного экономический склад крестьянской жизни — и вы увидели бы, как открыто и бесцеремонно стали бы заявлять дети о своей свободе — требовать законных прав своих», писал автор конца прошлого века⁵⁵. Позднее, уже в начале XX века подобная мысль звучала в некоторых выступлениях депутатов-крестьян в Государственной думе. «Не приносите вреда детям уменьшением власти родителей... Имейте в виду, что часто послушание детей, необходимое для благоденствия крестьянской семьи, находится в зависимости от прав родителей на имущество. Напрасно вы, левые, меня тут беспокоите, вы меня молчать не заставите. Я один из тех крестьян, которые правды, нелицемерного сочувствия ищут у подножия трона, а не в еврейской паутине, как вы»⁵⁶. «Еврейская паутина» играет здесь ту же роль, что и «европейское гниение» у Киреевского: помогает представить кризис патриархальных семейных отношений как результат внешнего влияния, а не внутреннего развития.

И «бабий бунт», и непокорность детей, и умножавшиеся семейные разделы — все говорило о падении веса вековых заповедей семейной жизни, об усиливающемся ее разладе. Разлад нарастал в деревне, в городе же он и подавно был неминуем, обозначился раньше и породил более развитые формы рефлексии. Именно здесь, отчасти под влиянием внутренних перемен, но в немалой степени и под влиянием узнаваемых постепенно западных образцов, нарастает критика старых семейных форм и идет поиск новых. «С формами семьи связана была тирания, еще более страшная, чем тирания, связанная с формами государства. Иерархически организованная, авторитарная семья истязает и калечит человеческую личность. И эмансипационное движение, направленное против таких форм семьи..., есть борьба за достоинство человеческой личности... Нужно отстаивать более свободные формы семьи, менее авторитарные и менее иерархические»⁵⁷.

⁵² Звонков А. П. Современный брак и свадьба..., с. 68–69.

⁵³ Там же, с. 89.

⁵⁴ Успенский Г. И. Непорванные связи. // Собр. соч. в 9 томах. Т. 4, с. 299–300.

⁵⁵ Звонков А. П., Цит. соч., с. 93.

⁵⁶ Прения по Указу 9 ноября 1906 г. ..., с. 67

⁵⁷ Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Paris, 1939 (1972), с. 193–194.

Такие более свободные формы семьи и начали складываться исподволь в российском обществе, прежде всего в том его слое, который получил название «интеллигенции», здесь постепенно утверждалась «буржуазная», городская семья. Она, как правило, не похожа ни на традиционную крестьянскую, ни на старую барскую семью с ее многочисленными приживалами, дворней и т. д., невелика по размеру, состоит из супругов и небольшого числа детей. Но главное отличие — в характере отношений между мужем и женой, между родителями и детьми. В них гораздо больше интимности, демократизма, признания самоценности каждого члена семьи, будь то мужчина, женщина или ребенок. Такая семья и становится колыбелью нового фундаментального принципа семейных отношений, прямо противоположного прежнему: не *человек для семьи*, а *семья для человека*.

Литература донесла до нас образы — возможно, несколько идеализированные — демократической городской семьи типа описанной в «Возмездии» Блока или булгаковской семьи Турбиных. Однако семьи такого типа оставались все же довольно редким исключением в огромной крестьянской стране. Их роль образца для подражания могла быть лишь очень скромной, а постепенное распространение влияния этого образца на жизнь десятков миллионов семей требовало долгих десятилетий. Неудовлетворенность же семейной жизнью миллионов людей заставляла желать перемен немедленно, не считаясь с ценой, которой могли потребовать такие перемены, подогревала всеобщее нетерпение. Поэтому дни Турбиных оказались недолгими. Несоответствие между остротой накопившихся проблем (в том числе и семейных) и возможностями их постепенного решения в России начала XX века было чрезвычайно велико, оно привело к социальному взрыву, что на долгие годы перечеркнуло возможности эволюционного пути модернизации семейных отношений.

4. 5. Семейная революция

В первые послереволюционные годы исторически оправданная критика патриархальной семьи приобрела крайний характер и переросла в отрицание не только архаичных, отживших форм семьи и принципов семейных отношений, но и самого института семьи вообще. Официальные теоретики того времени были убеждены, что «в коммунистическом обществе вместе с окончательным исчезновением частной собственности и угнетения женщины, исчезнут и проституция, и семья»⁵⁸. «Место семьи как замкнутого мелкого предприятия должна была, по замыслу, занять законченная система общественного ухода и обслуживания»⁵⁹. В массовой пропаганде и бытовой практике враждебность к семье нередко приобретала самые уродливые формы.

Антисемейное идеологическое поветрие было весьма далеко от реальных требований времени и в своем крайнем виде продержалось недолго. Уже в конце 20-х годов начинается движение маятника в противоположную сторону. Сперва — довольно осторожное. Поначалу критикуется не само направление движения, а его скорость, слишком быстрая, по сравнению со скоростью экономического развития: семья перестает выполнять свои функции, а государство еще не может взять их на себя. «В целях сжатия

⁵⁸ Бухарин Н. И. Теория исторического материализма. М.-Пг., 1923, с. 174.

⁵⁹ Троцкий Л. Преданная революция. М., 1991, с. 121.

этих «ножниц»... государство вынуждено консервировать семью»⁶⁰. В 1930 г. ЦК ВКП(б) принимает решение, в котором, среди прочего, говорится: «ЦК отмечает, что наряду с ростом движения за социалистический быт имеют место крайне необоснованные полуфантастические, а потому чрезвычайно вредные попытки отдельных товарищей „одним прыжком“ перескочить через те преграды на пути к социалистическому переустройству быта, которые коренятся, с одной стороны, в экономической и культурной отсталости страны, а с другой — в необходимости в данный момент сосредоточить максимум ресурсов на быстрой индустриализации страны... К таким попыткам некоторых работников, скрывающих под „левой фразой“ свою оппортунистическую сущность, относятся... проекты перепланировки существующих городов и постройки новых исключительно за счет государства, с немедленным и полным обобществлением всех сторон быта трудящихся: питания, жилья, воспитания детей, с отделением их от родителей, с устранением бытовых связей членов семьи и административным запретом индивидуального приготовления пищи и др. Проведение этих вредных, утопических начинаний, не учитывающих материальных ресурсов страны и степени подготовленности населения, привело бы к громадной растрате средств и жестокой дискредитации самой идеи социалистического переустройства быта»⁶¹.

Нельзя не заметить двусмысленности приведенных формулировок. В постановлении критикуется не столько идея полного обобществления быта, сколько ее несвоевременность. Коллективизация быта как бы отодвигается в будущее, ко временам большего богатства и большей подготовленности населения. В головах идеологов она продолжала жить очень долго. Еще в 1964 г. академик С. Струмилин утверждал, что семья «суживается до... семейной пары. А когда такие узкие семьи признают уже нецелесообразным расходовать массу труда на ведение у себя, всего на двоих, самостоятельного домашнего хозяйства, то тем самым и каждая отдельная семья как хозяйственная ячейка, сливаясь с другими и перерастая в большой хозяйственный коллектив, волеется в новую „задругу“ грядущей бытовой коммуны»⁶².

В 1964 г. такие взгляды имели под собой еще меньше почвы, чем в 1924, ибо теперь они были направлены не против устаревшей патриархальной семьи, а против семьи, прошедшей уже через многие этапы обновления, которое было неизбежным и необходимым ответом на кризис ее старой патриархальной формы. Обновлявшаяся семья в СССР двигалась в том же направлении, что и во всех странах европейской культуры. Постепенно уходил в прошлое принцип *человек для семьи*, общество и сама семья мало-помалу осваивали новый принцип: *семья для человека*. Но на этом пути семью подстерегали и новые трудности, выйдя из одного кризиса, она очень скоро попала в другой.

Полного признания в условиях советской консервативной модернизации новый принцип семейного существования получить не мог. Значительная часть общества была не готова к восприятию модернизационных перемен и внутренне сопротивлялась им.

⁶⁰ Вольфсон С. Я. Социология брака и семьи. (Опыт введения в марксистскую генеомию). Минск, 1929, с. 442.

⁶¹ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. М., 1983, с. 118–119.

⁶² Струмилин С. Г. Наш мир через 20 лет. // Избранные произведения в 5 томах. Т. 5. М., 1965, с. 440.

Как и все остальные институты советского общества, семья жила между двух берегов, между двух культурных пространств, была чем-то промежуточным, маргинальным, и это стало главным источником ее нового кризиса. Уже в предреволюционной блоковской семье, оказавшейся на переломе эпох, «все часы были полны каким-то новым „двоеверьем“». Еще большее «двоеверье» наполняло жизнь семьи советской. Антисемейные догмы раннего советского времени не могли отменить подлинную жизнь десятков миллионов семей, но и сами не исчезали, оказались очень долговечными. Догмы и жизнь существовали в странном симбиозе, который оборачивался искаженным, фантастическим видением реальности. Маятник общественного сознания, качнувшегося в первые послереволюционные годы в сторону полного нигилизма по отношению к семье, двигался теперь в противоположную сторону: состав, функции, образ жизни семьи обновлялись, а ее идеология, декларируемые принципы семейных отношений становились все более консервативными. В середине 30-х годов Троцкий писал о «семейном Термидоре» в СССР, о «торжественной реабилитации семьи, происходящей одновременно — какое провиденциальное совпадение! — с реабилитацией рубля»⁶³. «Брачно-семейное законодательство Октябрьской революции, некогда предмет ее законной гордости, переделывается и калечится путем широких заимствований из законодательной сокровищницы буржуазных стран»⁶⁴.

На самом деле, до реабилитации семьи, по крайней мере, той семьи, которой принадлежало будущее, было так же далеко, как и до реабилитации рубля. Далеко было и до «законодательной сокровищницы буржуазных стран». Произошли лишь некоторые подвижки, призванные устранить антисемейные крайности революционной поры. В каком-то смысле эти подвижки и впрямь не были лишены привкуса «термидорианства». Постепенно утвердившимся в общественном сознании *теоретическим* антиподом патриархальной сельской семьи стала не созданная европейской историей автономная, суверенная городская семья, уже пустившая первые ростки в предреволюционной России, — она, напротив, критиковалась за «буржуазность», «индивидуализм» и пр. Перед мысленным взором советских идеологов, как и перед мысленным взором Троцкого, витала семья, окруженная патерналистской заботой государства, обстроенная разного рода коллективистскими формами (общественным воспитанием детей, коммунальным бытом и т. д.) — конструкция, напоминавшая идеализированное общинное устройство русской деревни с элементами средневековых утопий Кампанеллы или Кабэ либо антиутопии Замятина. Это не только не облегчило модернизацию института семьи, но проложило путь к консервированию его архаичных форм. *Практика* же, если не считать нескольких слабых попыток (например, хрущевские школы-интернаты), очень быстро отказалась от следования «теории» и во многом стала возрождать ценности патриархальной семьи. Запрет аборт, ограничение разводов, непризнание незарегистрированных браков, повышенное внимание к «моральному облику» при назначении на ответственные должности, вмешательство «общественности» в семейные дела, преувеличенное целомудрие официального искусства и многое другое хорошо вписывалось в традиционную систему представлений об идеальной, «добропорядочной», по деревенским меркам XIX века, семье и о методах социального контроля над нею. Постепенно сложилась

⁶³ Троцкий Л. Цит. соч., с. 127.

⁶⁴ Там же, с. 128.

«семейная идеология», возрождавшая принцип *человек для семьи* и ставшая одной из опор всей официальной идеологии, основанной на принципе *человек для...*

Подобная идеология и вытекающая из нее практика искали опоры в реликтах общественного сознания и до поры до времени находили ее. Освященные историей семейно-общинные коллективизм и эгалитаризм, равно как и постоянно декларируемая «чистота нравов», выглядели созвучными неопределенному «социалистическому идеалу». Как писали еще Маркс и Энгельс, «нет ничего легче, как придать христианскому аскетизму социалистический оттенок»⁶⁵. Как крайне «революционная» антисемейная, так и консервативная просемейная идеологии сошлись в своем неприятии «семьи для человека» и, как могли, тормозили ее становление. Это помогло продлить дни старых принципов семейного существования, а тем самым и всего социального здания, сложенного из семейных «кирпичиков». По точному замечанию Б. Миронова, «авторитарность межличностных отношений, привычная для крестьянской семьи, сыграла роль важной психологической предпосылки установления авторитарного режима в стране. Широкие слои населения этот режим не пугал, не вызывал протеста, т. к. они с детства привыкли к авторитарным отношениям и просто не знали иных»⁶⁶.

Население было инстинктивно враждебно многим демографическим и семейным переменам, ибо они вступали в непреодолимый конфликт с культурной традицией. В условиях этого конфликта десяткам миллионов людей пришлось на протяжении жизни переходить от усвоенных с детства ценностей и образцов поведения к новым, неизвестным — задача заведомо невыполнимая. Массовое сознание долго не могло освободиться от заветов патриархальности. Еще в 1989 г., во время одного из опросов на первое место среди качеств, которые матери хотели бы видеть у своих детей, вышло «уважение к родителям», что заставило вспомнить результаты сходной американской анкеты 1924 г. Тогда американские женщины поставили это качество на второе место, но в 1978 г. у американок оно оказалось на седьмом. А вот независимость характера и верность своим убеждениям, которые в 1978 г. поставили на первое место американские женщины, в советском опросе 1989 г. заняли пятую позицию⁶⁷. В СССР целые поколения оказались маргинальными, потерявшими одну систему культурных ориентиров и не обретшими другую. В этом — главное отличие советского варианта демографического перехода от западноевропейского. Его совершали люди, внутренне менее свободные, чем на Западе, в силу чего они и не могли в той же мере воспользоваться внешней свободой, которую создавали объективные демографические перемены.

Но и не совершить его они не могли. Даже частичный возврат к принципу *человек для...* мог быть только временным. Модернизацию семьи он притормозил, но остановить ее он не мог. Старая патриархальная семья с присущими ей ценностями разрушалась, а если принять во внимание драматические обстоятельства, которыми сопровождалась гибель деревни в СССР, то и «уничтожалась». Но, вопреки представлениям революционных теоретиков, семья как институт не отмирала, а лишь видоизменялась: харак-

⁶⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. // Соч., т. 4, с. 449.

⁶⁶ Миронов Б. Н. Цит. соч., с. 239.

⁶⁷ Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. Отв. редактор Ю. А. Левада. М., 1993, с. 99.

терная для старой России многодетная, многопоколенная крестьянская семья дробилась и вытеснялась нуклеарной малодетной семьей городского типа.

Уже в довоенный период — между переписями 1926 и 1939 гг. — число городских семей увеличилось более чем вдвое, тогда как численность населения страны выросла не больше чем на 16%. В 1939 г. доля городских семей (в послевоенных границах СССР) в общем числе семей составляла 34 %, в 1959 г. — 48,4%, в 1970 г. — 58 %, в 1979 г. — 64%, в 1989 — 67,9%. Одновременно уменьшался средний размер семьи (в 1939 г. — 4,1 человека на семью; в 1959 г. — 3,7; в 1989 — 3,5), сокращалась доля крупных семей — с 5 и более членами (в 1939 г. их было более 35%, в 1959 — 26%, в 1989 — 18%)⁶⁸. Еще более характерны данные по Российской Федерации (на среднесоюзные показатели сильно влияли южные республики СССР, где модернизация семьи шла намного медленнее). В начале 20-х годов, когда большинство семей были сельскими, их средний размер составлял 5,6 человека, в немногочисленных городских семьях было, в среднем, 3,9 человека⁶⁹. В 1989 г. доля городских семей составляла 73,7%, средний размер семьи — 3,2 человека, доля семей с 5 и более членами — 12,6% (табл. 4.6).

Таблица 4.6. Некоторые характеристики семей Российской Федерации, 1926–1989 гг.

	1939	1959	1970	1979	1989
Доля городских семей, %	35,4	53,0	63,6	69,6	73,7
Средний размер семьи, человек	4,1	3,6	3,5	3,3	3,2
в том числе:					
городской	3,6	3,5	3,4	3,2	3,2
сельской	4,3	3,8	3,8	3,4	3,3
Доля семей с 5 и более членами, %	35,5	24,9	20,6	13,4	12,6
в том числе:					
городских	23,6	20,4	15,7	11,	111,2
сельских	42,0	29,9	29,3	18,8	16,4

Источник: Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994, с. 404.

Количественные сдвиги были неотделимы от глубоких качественных перемен в образе жизни большинства семей. Производственная деятельность вчерашних крестьян, оставаясь источником средств существования семьи, переместилась за ее пределы и превратилась для многих десятков миллионов новых горожан да и для значительной части сельских жителей — как мужчин, так и женщин, — в труд за зарплату. Снижение рождаемости сделало возможным почти поголовное вовлечение женщин во внедомаш-

⁶⁸ Волков А. Г. Семья — объект демографии. М., 1986, с. 52, 57; Вестник статистики, 1990, 6, с. 78.

⁶⁹ Васильева Э. К. Семья и ее функции. М., 1975, с. 34.

нее производство, в СССР занятость в нем женщин на протяжении десятилетий была выше, чем в любой другой стране, и в средних возрастах почти не отличалась от занятости мужчин. Семейные и производственные обязанности отделились друг от друга в пространстве и времени, их сочетание резко усложнилось. Основополагающие функции семьи, ее образ жизни, ритм формирования, семейные роли, внутрисемейные отношения, семейная мораль — все вступило в полосу обновления. К середине 80-х годов массовая советская семья уже очень мало напоминала любой из классических типов крестьянской семьи, на протяжении тысячелетий служившей моделью семьи вообще.

4. 6. Революция чувств

Семейная революция, стоящая в ряду очевидных экономических и социальных перемен, неотделима и от глубинных сдвигов в личной жизни людей, в эмоциональном строе интимных человеческих отношений, связанных с полом.

Половое влечение человека — извечный источник борьбы «культуры» и «природы». Христианская культура в России, как и везде, на протяжении последнего тысячелетия наступала на природу, теснила ее, стремясь ввести естественную жизнь плоти в социально приемлемые границы. Но возможности культуры задавались уровнем исторического развития, большого выбора методов воздействия на половое поведение людей у нее не было. Главным из них было подавление плоти. Культура откровенно принижала все, что было связано с полом, самостоятельное значение плотского начала не признавалось, осуждалось как «похоть». Даже и в браке половая близость мужчины и женщины была не более, чем терпима, и то лишь потому, что приводила к рождению детей. Еще Л. Толстой полагал, что «деторождение в браке не есть блуд; но... в мнении о том, что плотское общение хотя бы и с женой, ради одной похоти, греховно, есть правда»⁷⁰. «Человек, — утверждал он, — должен всегда..., — женат ли он или холостой — быть по возможности целомудренным... Если он может быть настолько сдержанным, что не знает женщины вообще, то это самое лучшее, что он может сделать»⁷¹.

Христианский идеал целомудрия и действительное поведение людей, конечно, не совпадали, «культура» и «природа» находились в непрестанном конфликте. Реальная жизнь не укладывалась в узкие рамки господствующей культурной нормы, то там, то здесь выплескивалась из них, так что никогда не было недостатка и в отклонениях от нормы, в «грехе».

Таким отклонением могло быть возвышение культурного идеала любви, романтизация вожделения, любовного чувства, оправдывающая неподчинение родителям, супружескую неверность, даже просто нелюбовь к жене или мужу, что тоже было грехом. Народное сознание оставляло место для воспевания телесной красоты, любви, страсти. «Суд разит — песня отпускает, — писал Герцен. — Церковь предаёт анафеме любовь вне брака — песня прокликает брак без любви»⁷². Но, пожалуй, более

⁷⁰ Толстой Л. Н. Мысли об отношениях между полами. // Полн. собр. соч. под ред. П. И. Бирюкова. т. 18. М., 1913, с. 221.

⁷¹ Там же, с. 213.

⁷² Герцен А. И. Былое и думы. // Собр. соч. М., 1956, т. 10, с. 27.

частой формой отклонения от нормы — и словесной, и практической — было снижение идеала, его десакрализация, противопоставление ему грубой, возможно даже нарочито огрубленной, простоты нравов. Хороший пример такой десакрализации — собранные А. Афанасьевым в середине прошлого века эротические «Русские заветные сказки». Тогда они были изданы в Женеве, но больше ста лет не могли пробиться в родную страну, ибо оскорбляли стыдливость и патриотические чувства царских и советских цензоров. Грубоватая стихия эротической сказки, конечно, очень далека от парадной, официальной половой морали, но, как писал Афанасьев, отнюдь не дает оснований для «обвинения русского народа в грубом цинизме». «Эротическое содержание заветных русских сказок, не говоря ничего за или против нравственности русского народа, указывает просто только на ту сторону жизни, которая больше всего дает разгула юмору, сатире и иронии»⁷³. Вся интонация афанасьевских сказок свидетельствует о том, что «природа» не подавлена «культурой», а лишь заключена в некую культурную оболочку, не очень к тому же прочную. Об этом, впрочем, говорят и сами нравы, никогда не отличавшиеся в России особой утонченностью. Новым для России XIX века оказывается не отклонение от культурной нормы, а нарастающая критика самой нормы.

Русское общество не могло рано или поздно не столкнуться с вызовом растущей половой свободы. Такая свобода — естественное следствие распада синкретического мира, в котором дозволенное половое поведение всегда спаяно с чем-то другим — с браком, рождением детей, иногда — с особенностями социального положения, религиозным ритуалом и пр. По мере перехода от «простого» к «сложному» обществу, социальный мир дифференцируется, половое поведение обособляется, становится самостоятельным, что требует и самостоятельной, «автономной» культурной оболочки для этого вида поведения, нового общепризнанного основания социального контроля над ним — взамен разрушенных устоев традиционной половой морали.

Общество искало, стихийно нащупывало, вырабатывало такое основание. Переосмысление «проблемы пола» нелегко давалось российскому девятнадцатому веку, впрочем, и двадцатому тоже, им трудно было принять новый, более свободный взгляд на отношения полов, который несла менявшаяся жизнь. Да и сама проблема была не всеми замечена. В. Розанов упрекал Писарева и Белинского, «о „поле“ сказавших не больше слов, чем об Аргентинской Республике, очевидно, не более о нем и думавших»⁷⁴, своих современников — религиозных философов (Флоренского, Булгакова и других), которые «ничего не сказали, и главное, не скажут и потом ничего о браке, семье, поле», В. Соловьева, который написал философскую работу «Смысл любви», но «ни одной строчки в десяти томах «Сочинений» не посвятил разводу, девственности вступающих в брак, измене и вообще терниям и муке семьи»⁷⁵. В свою очередь, Бердяев поддержал усилия Розанова, который «первый с невиданной смелостью нарушил условное лживое молчание» и «заявил во всеуслышанье, что половой вопрос — самый важный в жизни, основной жизненный вопрос, не менее важный, чем так называемый

⁷³ Афанасьев А. Русские заветные сказки. Москва-Париж, 1992, с. X.

⁷⁴ Розанов В. В. Уединенное. // Розанов В. В. М., 1990, т. 2, с. 243.

⁷⁵ Розанов В. В. Опавшие листья. // Розанов В. В. М., 1990, т. 2, с. 577.

вопрос социальный, правовой, образовательный и другие общепризнанные, получившие санкцию вопросы»⁷⁶.

Сам тон этих замечаний говорит о том, что русское общество созрело для широкого обсуждения «полового вопроса». Но претензии философов и публицистов начала века на какое-то особое первенство в его постановке едва ли обоснованы — они давно были подняты в русской культуре, и не случайно почти все эти философы и публицисты выступали очень часто как интерпретаторы Пушкина, Толстого или Достоевского. Просто к началу XX века сама проблема приобрела другие общественные масштабы, из элитарной стала массовой. Русское общество оказалось на пороге смены или, во всяком случае, очень сильного обновления культурной, нравственной и правовой основы всей системы отношений между полами, вообще всех отношений, связанных с половой жизнью человека, — это и придало неновому уже вопросу новое, громкое общественное звучание.

Естественно, что порыв к обновлению натолкнулся на глубоко эшелонированную оборону традиционных культуры и половой морали, теснимых новой этикой половой жизни. Одна из «линий обороны» заключалась в том, чтобы вообще вывести вопросы пола за пределы мира культуры, истолковать их как «естественные» и потому подвластные вечным, а не исторически меняющимся законам: не что-то новое появилось, а «так всегда было». На это, в частности, были направлены усилия Розанова. Его обостренный интерес к вопросам пола мог иметь, конечно, какие-то личные причины, но сквозь трактовку им этих вопросов просвечивает расколотое сознание консерватора, живущего на переломе эпох и готового принять, оправдать, даже приветствовать «инструментальные» перемены, но при условии, что главные социальные установления прошлой жизни остаются нетронутыми.

«Вся-то область эта — биологическая, и не „моральная“ и не анти-„моральная“, а просто — своя, „другая“»⁷⁷. В социальных ролях мужчин и женщин главное — их биологическая заданность, она больше всего и предопределяет успешность игранья ролей. «Наибольший самец и наибольшая самка суть: 1) герой, деятель; 2) семьянинка, домоводка»⁷⁸. Во всех же случаях выхода за пределы ролей, их смешения надо искать не плоды неустанного вращения колеса истории, а следы извечного присутствия «содомистов», «третьего пола», «людей лунного света».

В начале XX века откровенные, нередко эпатажирующие рассуждения Розанова о вопросах пола могли казаться очень современными. Однако именно современность привлекала его меньше всего. Казалось, что Розанов восстанавливал пол в его правах, на деле же он осуждал современные формы раскрепощения пола или хотя бы его «одомашнивания», постоянно противопоставлял им добродетели половой жизни далекого прошлого, которые он сам выдумывал и ставил на котурны своей цветастой риторике. «Брак и семья в Европе органически, окончательно испорчены, и не расцветут, пока не отцветет Европа», — утверждал он, противопоставляя Европе мусульман и древних евреев, древнюю Грецию и древний Египет, о которых он мало что

⁷⁶ Бердяев Н. Метафизика пола и любви. // Русский эрос. М., 1991, с. 234

⁷⁷ Розанов В. Люди лунного света. // Розанов В. В. М., 1990, т. 2, с. 29–30.

⁷⁸ Там же, с. 33.

знал⁷⁹. Он с презрением писал о «наших невских проститутках», «этих чахлах, намазанных, пьяных, скотски ругающихся и хватающих вас за рукав особах», и тут же — с восторгом, чуть ли не как о воплощении «вечной женственности» — о египетских ритуальных, храмовых проститутках, «редких и исключительных существах, которые неопределенно и беспредельно отдавались мужчинам»⁸⁰. Он осуждал даже «еженощное спанье вместе жены и мужа», едва ли не ответственное за «обломовский характер русских», — а надо бы как «у древних греков, палестинских евреев и теперешних мусульман», у которых «муж посещает жену свою, живущую отдельно в своем шатре» — тогда и совокупление происходит лучше и народы обладают совсем не обломовским характером, а «высоким здоровьем и красотой»⁸¹. «Сексуальность, которую Розанов прославлял и стремился освободить от викторианских ограничений, не была выражением индивидуального желания или определяющей чертой современной освобожденной личности, но сходной с религиозной верой духовной силой, которая подпирает мощные иерархии традиционного общества»⁸².

«Патриархальный эротизм» Розанова представлял одну — консервативную, обороняющуюся — сторону в разыгрывавшемся в России культурном конфликте вокруг всего, что было связано с половым. Но будущее, по-видимому, принадлежало все-таки другой, наступавшей стороне. Она шла навстречу переменам и искала новой культурной, ценностной оболочки для старого, как мир, эротического влечения.

Такой «оболочкой», мало-помалу превратившейся в самую суть любовного чувства, в российской, как ранее в европейской культуре, стала «романтическая любовь», то, что Толстой называл любовью-влюблением, плотское влечение, обогащенное глубоким эмоциональным переживанием. И это произошло не в каких-то особо привилегированных слоях — их эмоциональная жизнь и прежде была более развитой, — коснулось не каких-то необычных, исключительных случаев. Нечто новое вошло в повседневную жизнь каждого, стало постепенно массовым достоянием — разумеется, прежде всего как идеальная норма, как ценность, но это не могло не влиять и на реальное массовое поведение. Оно никогда не соответствует идеалу, но всегда в той или иной степени ориентируется на него.

⁷⁹ Там же, с. 63. Розанов не знал, например, что в древнем Египте, над которым, «горело... чудное небо других звезд, другой луны и солнца» и где «рождались лучезарнейшие младенцы, каких видел мир», да и во многих других африканских странах все девочки («включая Нефертити и Клеопатру», — замечает Бенуат Грут) подвергались клиторидектомии с целью лишить их возможности, став женщинами, испытывать желание и получать удовольствие от полового акта — в соответствии с требованиями патриархальной морали, господствовавшей под «чудным небом других звезд» и кое-где дожившей до наших дней. Как писал в своей книге известный африканский лидер второй половины XX в. Джомо Кениата, ни один представитель его народа (кикуйю), достойный этого имени, не вступит в брак с женщиной, не прошедшей через такую операцию, ибо она есть «условие *sine qua non* получения полного нравственного и религиозного воспитания» (цит. по: *Grout B. Ainsi soit-elle. Paris, 1975, p. 105*). Подобная практика существует и сейчас, в конце XX в., во многих африканских и некоторых азиатских странах, и, если она сохранится, «более 2 млн. девочек ежегодно будут подвергаться риску увечья гениталий» (Отчет о мировом развитии — 1993. Всемирный Банк, Вашингтон, 1993, с. 52).

⁸⁰ *Розанов В. Люди лунного света, с. 38.*

⁸¹ Там же, с. 62.

⁸² *Engelstein L. The keys to happiness. Sex and the search for modernity in fin-de-si cle Russia. Itaka and London, 1992, p. 333.*

Перемены вызрели в повседневной жизни, потому что сама эта жизнь мало-помалу становилась иной. В России еще и в XIX веке молодые люди вступали в брак по выбору родителей (а до освобождения крестьян, бывало, и помещика), а не по своему собственному. Женщина могла уступить насилию, но не страсти. Любовное наслаждение не относилось к числу санкционированных культурой первостепенных супружеских ценностей, экономические и социальные соображения весили больше. Г. Успенский свидетельствовал, что семьи в русской деревне иной раз именовались «запряжками», причем наименования для семейных отношений так же нередко брались из сельскохозяйственного лексикона: женился — «влез в хомут», или «походи-ка в моих оглоблях», или «натрешь холку-то» и т. д.⁸³ — тут было не до любви. В брак вступали очень молодые, незрелые люди, почти дети, еще не готовые чувствовать по-настоящему. В этом сказывалась своя мудрость — женить старались помоложе — «пока половой инстинкт заглушает в парне все остальные соображения, пока воля послабее, чтоб не женился по собственному желанию да не выбрал неугодной жены»⁸⁴. Ходу назад после женитьбы не было, оставалось жить по старинной формуле: «стерпится — слюбится». Следовало ли удивляться, что «попадают жены, что по году и по два не зовут даже своих мужей по имени; долгое время дичатся их, избегают оставаться наедине; обращаются с ними грубо, как бы обиженные или раздраженные чем-либо»⁸⁵. А что касается собственно «секса», то «сожитительство Ивана с женой в тесной связи с его сытостью или голодом, а также с выпивкой вина. Отъевшийся осенью Иван да еще после «шкалика» почти всегда неумерен. А Иван голодный, в рабочую пору, например, собственно не живет с женой. Жену, конечно, не спрашивают о ее желаниях»⁸⁶.

Сама жизнь, таким образом, оставляла очень мало места для развитого любовного чувства, что и получало отражение в культуре, в санкционированном ею понижении ценности любви, ее трактовке как чисто плотской, в противопоставлении возвышенного духовного низкому телесному. А это неизбежно означало сохранение сильного напряжения, всегда грозившего выходом «природы» из-под контроля культуры. Пока в обществе сохранялась незыблемость принципа *человек для...*, удерживалось и хрупкое равновесие «верха» и «низа». Когда же развитие общества и человека стало мало-по-

⁸³ Успенский Г. И. Без определенных занятий. // Собр. соч. в 9 томах, т. 4, с. 447–448.

⁸⁴ Внуков Р. Я. Цит. соч., с. 25. Розанову ранние браки казались большим достоинством, он утверждал, что «религиозная чистота» брака «не может быть восстановлена никакими иными средствами, как отодвижением его осуществления к самому раннему (невинному) возрасту... Восстановление раннего «чистого» брака есть альфа восстановления глубоко потрясенной теперь семьи» (В Розанов. Женщина перед великою задачей. // Розанов В. В. М., 1990, т. 1, с. 231–232). А вот как видел ранние браки историк, описывавший реальную русскую семью до «потрясения». «Молодой человек после венца впервые встречался с существом слабым, робким, безмолвным, которое отдавали ему в полную власть», «с которым он прежде не привык встречаться как с существом свободным»; «человек вступал в общество прямо из детской, развитие физическое несколько не соответствовало духовному», и «он являлся перед обществом преимущественно своим физическим существом». «Главное зло для подобного общества заключалось в том, что человек входил в него нравственным недоноском». (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1962, кн. 7, с. 128–131).

⁸⁵ Звонков А. П. Цит. соч., с. 127.

⁸⁶ Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь «Ивана». // Записки ИРГО по отделению этнографии. Т. 39. СПб., 1914, с. 59.

малу обесценивать этот принцип, равновесие нарушилось, и освященные традицией брак и семья стали восприниматься как тюрьма плоти. Бердяев писал, что в Новое время семья часто признается могилой любви⁸⁷.

Западная Европа встретила с этой проблемой раньше, чем Россия. Здесь со времени Ренессанса начинают складываться новые представления о целостной, гармоничной личности, и приходит новое понимание эротического влечения, требующее «преодоления средневекового дуализма „верха“ и „низа“, путем слияния возвышенного чувства и физической сексуальности»⁸⁸, приходит способность по-новому чувствовать, намного глубже и ярче, чем прежде, переживать любовное чувство. В России то же происходило в XIX веке — в эпоху стремительного роста гражданского самосознания русского человека. Менялись воззрения, менялось, по-видимому, и реальное поведение людей.

Историк Н. Костомаров, описывая домашнюю жизнь и семейные нравы XVI–XVII веков, отмечал, что «в отношениях между двумя полами... видели одно лишь животное влечение»⁸⁹. С. Соловьев писал, что хотя церковь «старалась внушить, что брак есть таинство, к которому должно приступать с благоговением, но общество смотрело на него другим взглядом и выражало этот взгляд в „нелепых козлогласованиях и бесстыдных словесах“, которыми провожали жениха и невесту в церковь»⁹⁰. У обоих авторов речь идет о допетровской эпохе, но их воззрения принадлежат XIX столетию, когда в России прокладывали себе дорогу новые представления об отношении полов и все лучше осознавалось, что в отношениях мужчин и женщин, соединенных не по их воле, должна была преобладать грубая чувственность, которую уже не мог довольствоваться обновляющийся человек.

Внутренний мир его личности разрастался, обогащался, индивидуальное, интимное приобретало все большую цену, глубже и полнее переживалось и эротическое влечение. Люди начинали задумываться о правах индивидуальных, избирательных, человеческих чувств, которые не признаются в мире соборного человека, не осознающего себя как автономную индивидуальность. В таком мире, говоря словами Герцена, «любовь к лицу» уступает место «вообще любви к полу». «Но именно только личное, индивидуальное и нравится, оно-то и дает колорит, tonus, страстность всей нашей жизни. Наш лиризм — личный, наше счастье и несчастье — личное счастье и несчастье»⁹¹. Эротическое влечение срасталось с «любовью к лицу», «распятое тело воскресало... и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник, из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез»⁹².

Позиция Герцена — промежуточный итог изменений в русской культуре, которой уже с начала XIX века пришлось всерьез осваивать новую ситуацию, вырабатывать но-

⁸⁷ Бердяев Н. Метафизика пола и любви, с. 260.

⁸⁸ Кон И. С. В поисках себя. М., 1984, с. 111.

⁸⁹ Костомаров Н. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. М., 1992, с. 200.

⁹⁰ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1962, кн. 7, с. 127.

⁹¹ Герцен А. И. Былое и думы. // Собр. соч. М., 1956, т. 10, с. 204.

⁹² Там же, т. 8, с. 162.

вый язык, новую систему образов, новое зрение, новую мораль. Это — время создания первых шедевров русской любовной лирики. Еще Державин мог писать, обращаясь к своей невесте: «Как счастлив смертный, кто с тобой проводит время! /Счастливее того, кто нравится тебе». Здесь декларируемое счастье даже и не предполагает ответного чувства. Совсем не то у Пушкина:

Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог...

Имея в виду эти и другие стихи Пушкина, А. Ахматова писала о создании в русской поэзии «языка любовных переживаний»⁹³. Раньше он не был ей нужен, ибо он не был нужен обществу. Начиная с Пушкина, высокая русская культура стремилась заполнить пропасть между «низом» и «верхом», между чувственным и духовным, возвысить первое до второго, сблизить их — подобно цветаевской Федре:

Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!) нельзя, припадая к устам,
Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст...
Утоли мою душу: итак, утоли уста.

Какое-то время многим пишущим людям казалось, что любовные переживания — «господское» дело, простой же народ и любит «по-простому», не поднимаясь выше уровня грубого чувственного влечения. В конце прошлого — начале нынешнего века многие наблюдатели народной жизни были убеждены, что нравы даже падают. «Печальные «грешки», к несчастью, с каждым годом все прибавляются и прибавляются. Все чаще и чаще можно встретить среди крестьян случаи супружеской неверности. Виновны тут и отхожие промыслы, и солдатчина, ранние браки здесь положительно растлевают нравственность сельской молодежи, в конец извращают ее. За последнее время выбивается наружу более грустное и оскорбительное явление снохачества»⁹⁴. О снохачестве (сожительстве отца с женой сына) тогда много писали. По свидетельству автора конца XIX века, «часто приходится слышать распространенный по всей России рассказ о том, как тянули колокол и до тех пор не могли поднять его, пока не были удалены снохачи»⁹⁵.

⁹³ Ахматова А. О Пушкине. Л., 1977, с. 78, 80.

⁹⁴ Звонков А. П. Цит. соч., с. 129.

⁹⁵ Богаевский П. М. Цит. соч., с. 17.

Ни ранние браки, ни снохачество не были, конечно, новостью в русской деревне. Критика же «падения нравов», скорее всего, отражает сдвиги в общественном сознании, появление каких-то иных, более высоких моральных критериев. Но и реальное массовое поведение тоже, видимо, менялось, что давало пищу для критики. Во второй половине XIX века историческое движение захватило все слои русского общества, рано или поздно новый мир чувств должен был открыться и мещанину и крестьянину. Нравы стали меняться, становиться более свободными, нарушения вековых правил — более смелыми и открытыми.

Жалобы на падение нравов всегда слышны в переломные эпохи, столкновение старых и новых нравов — одна из сторон обычного для таких эпох конфликта внутри культуры. Нараставшая «революция чувств» расширяла и углубляла этот конфликт. По замечанию Бердяева, христианство создало не только монашеский аскетизм, отрицание пола и любви, — из христианства вышел и романтизм — «хранитель личного начала в поле и любви»⁹⁶. Но даже если отрицание половой любви и ее романтизация выросли из одного корня, очевидно, что им не так просто ужиться друг с другом. Конфликт здесь неизбежен. Романтизация любви всегда и везде встречала сопротивление тех, кто видел в ней угрозу соборным нравственным устоям. Так было и в России. Пушкин, говоря о любовном чувстве с откровенностью, недоступной его предшественникам, окружил его не только ореолом возвышенности и чистоты, но и романтическим ореолом свободы. Последнее уже тогда не пришлось по душе поборникам принципа *человек для...* И. Киреевский хотел бы, чтобы автор «Цыган» представил в этой поэме «золотой век», «где страсти никогда не выходят из границ должного». Такая мысль, по его мнению, «могла бы иметь высокое поэтическое достоинство. Но здесь, к несчастью, прекрасный пол разрушает все очарование и между тем, как бедные цыганы любят „горестно и трудно“, их жены „как вольная луна на всю природу мимоходом изливают равное сияние“. Совместимо ли такое несовершенство женщин с таким совершенством народа?»⁹⁷.

По мере того как любовное чувство приобретало все большие права и умножалось число связанных с этим конфликтов, усиливалась и реакция на эту новую ситуацию, проявлявшаяся, в частности, во все новых попытках сорвать с любви ее романтические покровы. Стихия страсти в романах Достоевского сеет вокруг себя беду, калечит человеческие судьбы. Мир страсти — это мир, в котором проматываются состояния, летят в огонь пачки денег, нарушаются обеты, оскорбляется добродетель, совершаются убийства. «Грянула гроза, ударила чума, заразился и заражен доселе, и знаю, что уж все кончено, что ничего другого и никогда не будет», — вот страсть у Достоевского. Анализируя изображение любви у Достоевского, открывшего «в русской стихии начало страстное и сладострастное», Бердяев пишет, что «в русской любви есть что-то темное и мучительное, непросветленное и часто уродливое. У нас не было настоящего романтизма в любви»⁹⁸.

Бердяев видит в этом «ущербность нашего духа», но не есть ли видение любви Достоевским и его интерпретация Бердяевым попросту лишь отражение конфликта двух

⁹⁶ Бердяев Н. Метафизика пола и любви, с. 246–247

⁹⁷ Киреевский И. В. Нечто о характере поэзии Пушкина. // Киреевский И. В. Критика и эстетика. с. 50.

⁹⁸ Бердяев Н. Любовь у Достоевского. // Русский эрос, с. 274.

культур и двух нравственностей, на который было обречено обновляющееся русское общество XIX–XX веков? Внутренняя напряженность такого конфликта не обязательно связана с его внешними масштабами, она может быть в большей степени обусловлена его новизной. Развитие конфликта в ограниченной социокультурной среде, например у городской интеллигенции, может породить решения, которые со временем окажутся пригодными и для других слоев общества, охваченных тем же конфликтом, но такие решения даются нелегко и находятся не в один прием.

Беззащитность человека перед любовной страстью, как она представлена в русской литературе, порой кажется чрезмерной. У Достоевского, строго говоря, вообще нет реальной страсти, а лишь окружающие ее громы и молнии, довольно искусственно связанные с поступками его персонажей, но зато всегда очень опасные. У Толстого, напротив, страстное любовное влечение предстает во всей его чувственной полноте, но тоже очень часто как непобедимый внутренний враг, «дьявол». Деромантизация любовного чувства, часто переплетающаяся с его романтизацией, глубоко укоренилась в русской культурной традиции и обнаруживается иногда самым неожиданным образом, например, у Набокова. В этом сказывается непреодоленная переходность культуры, ее неготовность порвать со старым порядком вещей в том, что касается половой жизни человека.

Эта неготовность была еще велика в предреволюционной России и дала себя знать очень скоро после революции. Антисемейный пафос ранней революционной поры был не в последнюю очередь связан с упрощенными до предела взглядами на отношения полов, нередко сводившими их к чистой физиологии — но, собственно, ничего иного и не могло остаться после демонстративного отказа от традиционной культуры, религии и т. п. Социологические опросы 20-х годов показывали значительное упрощение нравов городской молодежи: рост добрачных и внебрачных связей, причем не только у мужчин, но и у женщин, большую снисходительность к ним, оправдание поверхностных, мимолетных контактов. Все это казалось очень революционным, в либерализации половой жизни видели «сексуальную революцию», созвучную политической революции.

На самом деле, истинная революция могла совершиться и отчасти уже совершилась не в самом сексуальном поведении, а в механизмах социокультурного управления им. Перемены в поведении могли стать долговременными только в том случае, если изменились главные побуждения к нему, глубина любовного чувства и смысл эротического желания. Биологическая основа желания осталась та же, что была всегда, но над ним всегда надстраивается еще нечто, привнесенное культурой. В России к началу XX века эта надстройка изменилась, расширилась. С появлением и распространением золотой монеты «романтической любви», медная монета примитивного «секса» не перестала существовать, но сильно упала в цене. В этом и заключался главный — и действительно революционный — сдвиг. Он-то и позволяет резко ограничить поле внешних санкций, касающихся половой жизни. Половая мораль делается более свободной, человек сам становится контролером своего полового поведения, общество же при этом отнюдь не впадает в свальный грех. Эта перемена прочитывается как «сексуальная революция», но в основе ее лежит более важная, основополагающая *революция чувств*.

Если такая революция и началась в дореволюционной России, то она затронула лишь небольшую часть ее населения и не создала еще предпосылок, необходимых для массовых перемен полового и семейного поведения. Радикализм советской сексуальной революции начала 20-х годов был преждевременным. Конечно, и тогда были попытки вписать внезапно выросшую половую свободу в новый, «современный» культурный контекст, противопоставить свободный, но романтизированный «крылатый эрос» бескрылому, не поднимающемуся выше примитивного физиологического влечения. Однако сам новый культурный контекст еще отсутствовал или был крайне неразвитым, общество не было готово к большей половой свободе, как оно не было готово к большей индивидуальной свободе вообще. Поэтому очень скоро новая половая мораль стала трактоваться как проявление буржуазного эгоизма и индивидуализма — в ущерб интересам коллектива. Как писал один из авторов тех лет: «Пролетариат имеет все основания для того, чтобы вмешаться в хаотическое развертывание половой жизни». «Половая жизнь перестает быть „частным делом отдельного человека“». «Допустима половая жизнь лишь в том ее содержании, которое способствует росту коллективистских чувств, классовой организованности, производственно-творческой боевой готовности, остроте познания»⁹⁹.

Дело кончилось отторжением всех социокультурных нововведений в области отношений полов и довольно жесткой традиционалистской реакцией¹⁰⁰. Начиная с 30-х годов в официальной советской морали воцарились критерии целомудрия, которым позавидовала бы и викторианская Англия. Казенное ханжество проникло в частную жизнь граждан, пропитало литературу и искусство. В середине XX века Анна Ахматова, чьим голосом впервые в русской культуре заговорило женское любовное чувство, — подобно тому, как за сто лет до нее в поэзии Пушкина впервые выразилось чувство мужское, — была заклеена как «блудница»¹⁰¹. В послевоенные десятилетия, когда сексуальная революция развернулась во всем мире, лицемерная советская мораль продолжала отстаивать нормы полового поведения чуть ли не домостроевского образца.

Но теперь уже эти традиционные нормы не соответствовали духу изменившегося общества, ибо совершенно иной стала массовая повседневная практика. В стране, где практически все официальные и неофициальные супружеские пары регулируют деторождение, вряд ли кто-нибудь искренне думает, что зачатие есть единственная цель полового акта. Ясно и то, что обособление полового поведения вовсе не означает всеоб-

⁹⁹ Залкинд А. Б. Революция и молодежь. М., 1924, с. 55, 75, 90.

¹⁰⁰ Вот любопытный пример зарубежной реакции на эти перемены (середина 30-х годов): «В работе среди молодежи мы ссылались на свободу в сексуальной сфере, предоставленную в Советском Союзе молодым, что и нашло отражение в моей книге. Коммунистическая партия Германии в 1932 г. запретила распространение книги, а годом позже и нацисты внесли ее в список запрещенных». «Замешательство как в Советском Союзе, так и вне его ставит, таким образом, на повестку дня вопрос о советской сексуальной политике. Что случилось? Почему сексуальная реакция берет верх? Что следует делать?» «Нам приходится констатировать торможение сексуальной революции, более того, возвращение вспять к формам регулирования любовной жизни, основывающимся на авторитарной морали». «Мы не можем больше ссылаться на сексуальную свободу советской молодежи и видим смятение, которое охватило западноевропейскую молодежь, не понимающую, что происходит в СССР» (Райх В. Сексуальная революция. Спб.-М., 1997, 206–208).

¹⁰¹ Жданов А. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». «Правда», 21 сентября 1946 г.

щего перехода от упорядоченных половых отношений к случайным связям. От этого как раз удерживает возросшая требовательность к половому общению, к его качеству, связанному с ним эмоциональному переживанию. Но с изменением функционального смысла половой близости большее значение приобретает ее гедонистическая составляющая и полнее раскрывается эротическое начало половых отношений, в том числе, а может быть и в первую очередь, отношений супружеских, которым старая синкретическая традиция отказывала в праве быть самостоятельным источником наслаждения. С некоторым опозданием это историческое нововведение пришло и в СССР. С. Голод, ссылаясь на исследования сексологов и сексопатологов, отмечает значительные перемены в половом поведении супругов за несколько последних десятилетий¹⁰².

Разумеется, перемены в половом поведении затрагивают отнюдь не только область супружеского секса. Возвращаются многие элементы свободы половых отношений, которые существовали в России в двадцатые годы и тогда были откровением для всего мира, а в 80-е стали обычными для всего мира, но непонятными жителям СССР. Более терпимым становится отношение к внебрачным связям, к раннему началу половой жизни, к однополую сексу. Сопоставляя имеющуюся информацию о реальностях половой жизни в России и США в конце 80-х годов, И. Кон приходит к выводу, что, при всех возможных оговорках, «российские сексуальные ценности, установки и поведение очень сходны с западными и связаны с одинаковыми проблемами и противоречиями»¹⁰³. Правда, он же отмечает, что российская половая культура в своей эволюции примерно на четверть века отстает от западной¹⁰⁴.

С. Голод попытался дать количественную оценку сдвигов в «качестве» половой жизни за последние десятилетия. Он выделяет пять типов сексуальных отношений молодых людей, которые он — в зависимости от степени избирательности при выборе партнера, эмоциональной вовлеченности, истинной интимности отношений — называет «любовным», «гедонистическим», «познавательным», «рекреационным» и «релаксационным»¹⁰⁵. Изучая с помощью специальных опросов, проведенных в 1965, 1972 и 1995 гг., реальное поведение молодежи (возраст начала половой жизни, отношение к добрачным связям, побудительные мотивы вступления в них, тип партнера), Голод отметил «непрерывный рост любовного типа, при некотором колебании гедонизма». В совокупности эти два типа составляли: в 1965 г. — 35%, в 1972 г. — 49%, в 1995 г. — 65%. Доля же тех, кто был вовлечен в отношения более примитивного типа — «рекреационный» и «релаксационный» — сокращалась (44% — в 1965 г., 39% — в 1972 г., 18% — в 1995 г.). Это дало основания утверждать, что, «несмотря на рост числа молодых людей, вовлеченных в сексуальные контакты до брака, и на снижение возраста начала указанной активности, качественная сторона сексуальных отношений в целом улучшается»¹⁰⁶.

¹⁰² Голод С. И. XX век и тенденции сексуальных отношений в России. Спб., 1996, с. 165–166.

¹⁰³ Кон И. The sexual revolution in Russia. From the age of the czars to today. N.Y., 1995, p. 177.

¹⁰⁴ Ibid, p. 269.

¹⁰⁵ Голод С. И. Цит. соч., с. 68–69.

¹⁰⁶ Там же, с. 71.

4. 7. Второй демографический переход

Один из главных смыслов демографической модернизации заключается в переносе центра тяжести социального контроля над демографическим и семейным поведением людей с социетального на индивидуальный уровень: контроль со стороны государства, церкви или соседской общины уступает место самоконтролю, и одновременно резко расширяется свобода индивидуального выбора во всем, что касается личной жизни человека.

Этот важнейший сдвиг — естественное следствие изменения объективных условий человеческого существования. Снижение смертности сделало ненужной прежнюю высокую рождаемость. Снижение рождаемости и распространение планирования семьи разрушило синкретизм демографического поведения, слитность трех его составляющих: матримониального, полового и прокреативного поведений, сделало их относительно независимыми друг от друга¹⁰⁷. Таким образом был нанесен сильный удар по синкретизму всего традиционного мира и расширены предпосылки нового структурирования, рационализации массового поведения и одновременно его усложнения. Многократно увеличилось возможное разнообразие вариантов индивидуальных жизненных путей.

Не удивительно, что старая система отношений, норм, институтов, приспособленная к прежнему, более простому и менее разнообразному миру, оказалась в кризисе. Низкая и продолжающаяся снижаться рождаемость, все меньшее число зарегистрированных браков и рост числа свободных союзов и других форм совместной жизни, ослабление прочности брака и увеличение числа разводов и внебрачных рождений, растущее замещение семейной солидарности солидарностью социальной, эмансипация детей и пожилых, упрощение семейных нравов, гибкость семейной морали — признаки новейших перемен, которые затронули все звенья процесса формирования семьи, все стороны ее жизнедеятельности и очень плохо вписываются в казавшиеся незыблемыми тысячелетние нормы человеческого общежития. Везде, где такие перемены дают о себе знать, они нередко воспринимаются как свидетельства тяжелого кризиса современной семьи и даже всего современного общества.

Такому взгляду противостоит стремление к более уравновешенной оценке плодов модернизации. Разумеется, нельзя отрицать хорошо известных проблем, возникающих в связи с падением рождаемости, старением населения, нестабильностью брака, ростом числа свободных союзов и внебрачных рождений, большим числом искусственных абортов, распространением СПИДа и т. п. Но не следует забывать и о другой чаше весов, на которую ложатся приобретения XX века: расширение свободы выбора для мужчины и женщины как в семейной, так и в социальной области, равенство партнеров, большие возможности контактов между поколениями, удовлетворения личных потребностей, самореализации и т. д. Совокупность происходящих перемен иногда обозначают термином «второй демографический переход»¹⁰⁸. Его смысл усматривают «в возрастающей ценности индивидуальной автономии и индивидуального права выбора» и ви-

¹⁰⁷ Вишневский А. Г. Демографическая революция. М., 1976, с. 114–118.

¹⁰⁸ Van de Kaa D.J. Europe's second demographic transition. Population Bulletin, Washington, 1987, (41) 1.

дят в нем естественный спутник модернизации и демократизации. Поэтому, полагает, в частности, бельгийских демограф Лестег, один из авторов концепции «второго демографического перехода», «то же, что сейчас обуславливает стремление к демократии в Восточной Европе, как и в других частях мира, прокладывает там путь и второму демографическому переходу. Эпоха растущего религиозного и политического контроля над индивидуальной жизнью человека, которая с такой жестокостью утвердилась на Западе со времен Реформации и Контрреформации и которая длилась до второй половины XX века, пришла к концу»¹⁰⁹.

В самом деле, в России и в других бывших республиках СССР как позднего советского, так и постсоветского времени, налицо все признаки модернистских изменений, свойственных западным странам второй половины XX века. О некоторых из них, таких как резкое снижение рождаемости, уже говорилось выше. Перемены очень сильно затронули процесс заключения и распада браков. С одной стороны, снижение смертности значительно уменьшило вероятность прекращения брака вследствие овдовения, сейчас оно остается главной причиной прекращения брака лишь в старших возрастных группах. Для более молодых супругов роль овдовения намного меньше, чем прежде. Если в конце прошлого века из каждых 100 брачных пар, образованных сверстниками в возрасте 20 лет, имели шанс не распасться из-за смерти одного из супругов до достижения ими 50-летнего возраста лишь 54, и даже во второй половине 20-х годов нашего столетия — только 63, то к середине 80-х годов этот показатель повысился до 79¹¹⁰.

С другой стороны, резко возросла вероятность распада брака из-за развода. До революции Россия практически не знала развода, число разводов на 1000 брачных пар составило в 1897 г. 0,06, в 1913 г. — 0,15. В конце 70-х годов этот показатель был в сто раз выше: 15,2 на тысячу — в основном за счет европейских республик СССР, ибо в Закавказье и Средней Азии разводов все еще было немного. Важную компенсирующую роль играли повторные браки, в 1985 г. они составили 20% всех браков. Но если прежде они смягчали последствия овдовения, то теперь — в основном последствия развода. По оценке М.Тольца, при уровне брачности и разводимости 1978–1979 гг. имели шанс вступить в повторный брак после развода 40% мужчин и 34% женщин, при уровне 1988 г. — соответственно 73% мужчин и 52% женщин. Возможно, эти шансы были даже выше, потому что статистика учитывала только зарегистрированные браки разведенных, а на деле немалое число браков не получало юридического оформления.

Динамика браков и разводов свидетельствовала о растущей матримониальной мобильности населения, которая с неизбежностью расшатывала традиционный пожизненный брак. Это вызывало обычную в подобных случаях морализаторскую критику, рассуждения о «падении нравов», которая затрудняла понимание происходивших перемен во всей их совокупности. В действительности, если учесть долговременное совокупное действие всех изменений в брачной биографии людей на формирование и жизнь семей, то их общий итог был положительным. По сравнению с концом прошлого века, ожидаемая продолжительность жизни в браке выросла у мужчин примерно на 6, а у

¹⁰⁹ *Lesthaeghe R.* Der zweite demographische bergang in den westlichen L ndern: eine Deutung. Zeitschrift f r Bev lkerungswissenschaft, 1992, Vol. 18, 3, S. 350.

¹¹⁰ *Вишневецкий А. Г., Тольц М. С.* Эволюция брачности и рождаемости в советский период. // Население СССР за 70 лет. М., 1988, с. 85.

женщин — на 5 лет¹¹¹. Тем не менее расшатывание привычных способов формирования семьи продолжалось. Одним из его проявлений стало умножение нерегистрируемых брачных союзов.

В СССР не было никакой официальной статистики нерегистрируемых браков, об их числе можно было судить только косвенно, например, по числу внебрачных рождений. Но было ясно, что число таких браков растет, а общественное мнение становится более терпимым к ним. В 1989 г., по данным одного из опросов, 22,5% опрошенных считали неприемлемым брачное сожителство без официальной регистрации, однако, по мере перехода к более молодым возрастам, доля таких ответов быстро падала. Среди пожилых людей в возрасте 60 лет и старше их было 47,3%; среди молодежи в возрасте до 20 лет — только 13,8%. Этот же опрос показал, что более снисходительно относятся к незарегистрированным бракам люди с более высоким уровнем образования¹¹². Большая терпимость к альтернативным формам семьи сочеталась с признанием семьи одной из важнейших ценностей: 89,5% опрошенных предпочитали вступить в брак и жить в семье. Общественное мнение было гораздо более терпимо к незарегистрированным бракам, нежели к сознательной бездетности¹¹³.

Российская микроперепись 1994 г. впервые позволила оценить долю лиц, живущих в незарегистрированном союзе. По данным микропереписи, на долю состоящих в таких союзах приходилось 6,5 % мужчин и 6,7% женщин, считавших себя состоящими в браке. Эти показатели близки к наблюдавшимся в середине 80-х годов в Великобритании, Франции, Нидерландах, заметно ниже, чем в Швеции (20%), Норвегии и Финляндии (по 11%), но выше, чем в Италии (1%), ФРГ (5%), Австрии (4%) и Венгрии (3%)¹¹⁴.

Смысл свободных сожителств может быть разным. В них может проявляться как действительное «падение нравов» и легкомысленное отношение к супружеским отношениям, так и, напротив, более ответственное отношение к ним, нежелание юридически оформлять не проверенную опытом совместной жизни связь. В обоих случаях они заменяют некоторое количество юридически оформленных союзов, одним из следствий чего может быть отмечаемое статистикой снижение брачности, ибо оно оценивается по данным о зарегистрированных браках.

С распространением незарегистрированных браков связан, по-видимому, и быстрый рост числа внебрачных рождений. Их доля была высока сразу после окончания Второй мировой войны (в Российской Федерации свыше 24% в 1945 г.). К 1970 г. она понизилась до 11 %. Но в 80-е годы эта доля снова стала быстро расти и к середине 90-х годов превысила 20%.

«Второй демографический переход» на Западе ознаменовался распространением раннего, часто до вступления в брак, отделения детей от родительской семьи. Для СССР это не было характерно. Но отделение от родителей молодых супругов, нетипичное для

¹¹¹ Там же, с. 92.

¹¹² *Мацковский М., Бодрова В.* Ценность семьи в сознании различных слоев населения. // *Семья в представлениях современного человека.* М., 1990, с.163.

¹¹³ Там же, с. 157, 165.

¹¹⁴ *La situation démographique dans l'Union européenne. Rapport 1994.* Luxembourg, 1995, p. 51.

дореволюционной крестьянской России, становилось все более обычным. А. Волков, специально изучавший вопрос на представительном статистическом материале, относящемся к первой половине 80-х годов, показал, что подавляющее большинство молодых супругов стремилось жить отдельно от родителей: живущие вместе с родителями, как правило, хотели отделиться, а живущие отдельно не хотели соединяться¹¹⁵. По данным Волкова, более 1/3 лиц, живших до брака вместе с родителями, отделялись от них сразу же после вступления в брак. За первые 10 лет брака от родителей отделялись 59% молодых семей, а так как еще примерно 16% таких семей за это время распались, то неотделенными от родителей по истечению 10 лет брака оставалось всего 25% семей. Процесс отделения детей был сильнее выражен в европейских республиках, особенно у городского населения и значительно слабее — в республиках азиатской части страны, в первую очередь, у сельских жителей¹¹⁶. На практике процесс разделения семей до известной степени сдерживался трудностями с получением жилья, если бы их не было, этот процесс, вероятно, шел бы еще более интенсивно.

Второй демографический переход — этап демографической модернизации, в который даже продвинутые западные общества вступили сравнительно недавно — в последней трети XX века. Советское общество также прошло по этому пути довольно далеко, что может показаться неожиданным, если учесть типичные для СССР реликтовые семейную идеологию и шкалу ценностей. Но, может быть, в этом сказались коренные особенности демографической модернизации, которая затрагивает буквально каждого и затрагивает очень глубоко.

«Закрутить гайки» семейной жизни в анонимном городском обществе намного сложнее, чем в условиях сельской общины. Живая семейная стихия в таком обществе гораздо меньше поддается тоталитарному контролю, чем, скажем, производство или распределение материальных благ либо поведение людей в служебной обстановке. Конечно, в СССР и семья не была обойдена вниманием тоталитарного государства, в 30-е – 50-е годы семейные свободы были сильно стеснены. Но все же частная жизнь не знала всепроникающего тоталитарного надзора, столь характерного для публичной жизни тех лет, а со временем первой ощутила признаки приближавшейся либерализации. В обществе, которое не признавало свободы торговли, свободы передвижения, свободы слова или печати, свободы совести, семья порой пользовалась довольно большой свободой. Возможно, это было следствием молчаливого компромисса, уступкой, которую тоталитарное государство делало своим гражданам для того, чтобы сохранить за собой контроль в экономике, политике, других областях, казавшихся более важными, и хоть как-то компенсировало отсутствие в СССР многих важнейших гражданских свобод. Имели значение и весьма неопределенные взаимные экономические обязательства членов семьи, незначительная роль института наследства при отсутствии частной собственности и т. п.

Так или иначе, но частная, семейная жизнь в СССР во многих ее проявлениях была более свободной по сравнению как с жизнедеятельностью других социальных институтов советского общества, так и с семейной жизнью большинства людей в недалеком

¹¹⁵ Волков А. Г. Цит. соч., с. 219.

¹¹⁶ Там же, с. 203, 216.

прошлом, в условиях довольно жесткой деревенской цензуры, а порой и с семейной жизнью граждан многих западных стран. Конечно, эта свобода была все же относительной, ограниченной подконтрольностью всех других областей советской жизни. Но постепенно она расширялась. Семья и ее члены, живущие в городских квартирах (все чаще в отдельных), в анонимном городском пространстве, в возрастающей степени чувствовали свою автономность, придавали все большее значение суверенитету семейной жизни, ее приватному характеру, личному и индивидуальному в ней. Частная жизнь людей, в том числе и привилегированных, верхушечных слоев советского общества, все хуже укладывалась в узкие рамки официальной советской семейной морали.

На этом противоречивом фоне постепенно складывалась новая социокультурная почва, на ней худо-бедно приживались традиции дореволюционной «буржуазной», городской семьи. Сильно подорванные, они все же не исчезли, сохранившиеся их ростки ожили и окрепли. Несмотря на все трудности и противоречия, советская городская семья развивалась конвергентно с европейской или североамериканской, приобретает, понимает, и все их проблемы. Такая семья проявляла себя как все более активная структурная единица общества, более целеустремленно отстаивала свои экономические интересы, организовывала свое потребление, материальную среду, в которой она жила, свое жилище, свое времяпровождение, лучше осознавала свою ответственность за материальное или служебное благополучие своих членов, их здоровье.

В конце концов, со всеми возможными и неизбежными оговорками, сфера семейного существования оказалась тем заповедным местом, где люди начали входить во вкус иной жизни, где с детства признавались уникальность и самоценность личности, свобода индивидуального выбора, правомерность неповторимых и разнообразных семейных мирков. Везде было «Мы», а здесь было «Я». Поэтому городская советская семья, пожалуй, раньше других институтов почувствовала вкус и групповой, и индивидуальной автономии, ощутила необходимость гражданского общества как единственно возможного способа организации частной жизни человека, вылупившегося из семейно-общинной матрешки. Ставшее сакраментальным упоминание о интеллигентских «кухонных» посиделках символически указывает на эту неожиданную встречу семейного и гражданского.

Перемены не были легкими. Они шли вразрез с требованиями мобилизационной экономики, ограничительно-патерналистскими установками советского общества, тоталитарной идеологией, собственно семейными традициями. Функции, состав, структура семьи были уже новыми, а социокультурные рамки ее повседневного существования еще несли на себе множество следов былой патриархальности, сохранялись сильные пережитки традиционных внутрисемейных отношений, старого распределения половых и возрастных ролей и пр. Свобода выбора в демографической или семейной областях оказывалась нередко достоянием людей с незрелым, «подростковым» сознанием. Все это служило источником новых напряжений и рассогласований в жизнедеятельности семьи, порой порождало ностальгию по старым добрым временам, давало основания для возрождения консервативных воззрений на семью и возобновления старых русских споров.

Еще Л. Толстой, человек весьма далекий от модернистского энтузиазма, понимал, что дни старой патриархальной семьи сочтены. «Семья эволюирует, и потому прежняя форма распадается... Какая будет новая форма, нельзя знать, хотя многое намечается. Может быть большое количество людей, держащихся целомудрия; могут быть браки временными и после рождения детей прекращаться, так что оба супруга после родов детей расходятся и остаются целомудренными; могут дети быть воспитываемы обществом. Нельзя предвидеть новые формы. Но несомненно то, что старая разлагается...»¹¹⁷. «Новые формы» не сложились окончательно и сегодня, эволюция семьи продолжается, продолжается и ее приспособление к меняющимся условиям человеческого бытия. Такое приспособление никогда не бывает простым, тем более оно не было простым в СССР. Советское общество стремительно вошло в полосу демографического обновления, не будучи вполне готовым к нему. Догоняющее развитие вообще постоянно порождает подобные неувязки. Социальные нововведения заимствуются у обогнавших обществ в готовом виде, что позволяет отставшим двигаться быстрее, минуя многие промежуточные этапы и не неся ненужных потерь. В этом — сильная сторона догоняющего развития. Но оно имеет и слабую сторону. Заимствованные нововведения переносятся на неподготовленную почву, порождая причудливый и нередко не самый удачный сплав старого и нового. Такого сомнительного сплава много еще в личной и семейной жизни даже и постсоветского человека, демографической и семейной революциям еще предстоит пройти свои завершающие стадии на просторах бывшего СССР. Но двигаться при этом надо вперед, а не назад — не к ограничению свободы индивидуального выбора, а к выработке у каждого человека способности сочетать свободу выбора с его ответственностью.

Между тем и в бывшем СССР, и в нынешней России были и есть люди, связывающие будущее семьи с возвратом, по крайней мере, частичным, к прошлому, к его семейным нравам, к «материнскому призванию женщины» и т. п. Вспоминают и Киреевского, его мысли о семье, полагая их важными «для понимания не только проблемы семьи. Они позволяют постигнуть, в частности, и то, почему в России — по аналогии с беспрекословной властью главы семьи — всегда существовала и в государстве склонность к единоличному управлению и, следовательно, почему в ней вряд ли когда-либо привьется буржуазная демократия западного типа. Русским людям всегда, особенно в критические моменты истории, нужен был народный вождь, правильно сознающий назревшие потребности страны и строго, но справедливо управляющий ею»¹¹⁸.

Силы традиционалистского реванша неизменно вплетают темы семьи, пола, эротики в общий контекст антимодернистского противостояния и, отказывая в будущем всему настоящему, настойчиво тянут в прошлое. Не признавая самоценности человека и свободы индивидуального выбора ни в чем, они не видят им места и в личной жизни, не признают «личного лиризма» и не доверяют ему¹¹⁹. «Очеловечивание» эротизма — главное направление развития европейской культуры — кажется им весьма подозри-

¹¹⁷ Толстой Л. Н. Мысли об отношениях между полами, с. 247.

¹¹⁸ Антонов М. Ф. Ложные маяки и вечные истины: пути выхода страны из кризиса и русская общественная мысль. М., 1991, с. 43.

¹¹⁹ В середине 80-х годов в «Литературной газете» прошла любопытная дискуссия (ее начало — в «ЛГ» за 17 июля 1985 г.) о соотношении лирики и эпоса в современном искусстве. «Лирика, —

тельным, по их мнению, эротический импульс может толкать либо к надчеловеческому, либо к недочеловеческому, животному. В современной открытой культуре отношения полов они и видят лишь такое «животное», «распущенность», «бесстыдство». Противопоставляется же всему этому не свободное, но одухотворенное чувство, а расцвеченное на розановский манер скрытое от глаз и узаконенное сексуальное насилие прошлого. «Патриотическая эротика патриархальна. Мужчина в ней является основным и главным сексуальным полюсом... через благодать своей самодостаточности и полноты одухотворяет, преображает и искупает таинством любви женщину... Внутренняя принадлежность к патриархальному, «фаллоцентрическому», мужскому типу эротике и заставляет всех «правых», независимо от специфики их позиций, сходиться в одном — в борьбе с порнографизацией, сексуальной либерализацией и сексуальной революцией в обществе»¹²⁰.

Фаллократическая «патриотическая» мысль очень легко перебрасывает мостки от своей семейно-эротической мифологии к политике: к «гротескному (? – А. В.), пародийному (? – А. В.), но все же в некоторой степени «почвенному» сталинскому «империализму», который был вынужден (? – А. В.) прибегать к насилию и абсурду для осуществления... глубинных эротических позывов имперской нации»; к «„конституционному“ приравниванию женщин к мужчинам, что отражает... наличие откровенного полового извращения у... „законодателей“»; к недвусмысленным намекам на то, что «чужеземно ориентированные поборники „правовых государств“ рано или поздно станут жертвой эротической агрессии имперских этносов»¹²¹.

Существует и реальная политическая консервативная оппозиция, пытающаяся действовать чисто парламентскими методами. Еще в 1992 г., вскоре после распада СССР, в Верховном Совете России был подготовлен проект Основ законодательства об охране семьи, суть которого сводилась к тому, что «семья является субъектом права и ячейкой государства». Подобно борцам против Столыпинской реформы в добрые старые време-

утверждал поэт А. Кушнер, — живет лишь там, где есть уважение к человеку... Тоталитарные режимы не заинтересованы в ней, они поощряют тяжелоатлетический вагнеровский эпос» (см.: *Кушнер А.* Аполлон в снегу. Л., 1991, с. 205–206). У эпоса, конечно, нашлись защитники, и к месту были упомянуты Махабхарата, Калевала и Слово о полку Игореве. Но подоплекой спора было все же сопоставление не литературных жанров, а взглядов на человека.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Трудно представить себе эти ахматовские слова в устах Ярославны. Для эпоса — мелковато. А для женщины или мужчины вполне эпической эпохи войн и революций XX в. — в них концентрация личного опыта, которому нет цены.

¹²⁰ *Дугин А.* Консервативная революция. М., 1994, с. 215–217. Эту тему, между прочим, в свое время неплохо эксплуатировал Гитлер. «Нужно освободить всю нашу общественную жизнь от затхлого удушья современной эротике, нужно очистить атмосферу от всех противоестественных и бесчестных пороков. Руководящей идеей должна быть систематическая забота о сохранении физического и морального здоровья нашего народа. Право индивидуальной свободы должно отступить на задний план перед обязанностью сохранения расы» (*Гитлер А.* Моя борьба. 1992, с. 213).

¹²¹ *Дугин А.* Цит. соч., с. 213, 218–219.

на 3-й Государственной думы, авторы проекта настаивали на семейной собственности на квартиру, хозяйство, землю и пр. Предусматривалось, что личные доходы каждого члена семьи должны по закону складываться в общий семейный бюджет. Подчеркивалась предпочтительность воспитания детей в семье, а женщинам за домашний труд и воспитание детей предлагалось платить заработную плату. Женщина лишалась права самостоятельно принимать решение о рождении ребенка и т. д.¹²².

Проект не получил необходимой поддержки, но сходные проекты выдвигаются снова и снова, иногда поражая воображение неудержимой фантазией их авторов. Не исключено, что однажды законодатели не устоят перед напором «семейных» лоббистов и в чем-то пойдут им на уступки. Это послужит источником не одной личной трагедии, но мало что изменит по большому счету. Постсоветская семья никак не способна оправдать ностальгические надежды поборников вчерашнего дня. Ее будущее связано, скорее всего, с движением в противоположном направлении — к большей независимости семьи от государства и к большей свободе внутрисемейных отношений. Это движение предопределено одновременно и внутренними императивами эволюции института семьи, и главными ориентациями развития всех современных городских обществ. Пока оно в значительной мере тормозится экономическим и социальным кризисом постсоветского мира, общим убожеством материальных условий повседневной жизни, но именно напор со стороны семьи, которая переросла эти условия, может оказаться силой, способной придать динамизм реформам и ускорить выход из кризиса.

¹²² «Известия», 25 ноября 1992.